

The background of the book cover is a dramatic painting of a stormy sea. In the foreground, a small, dark boat with several figures inside is struggling against the waves. The water is a deep, turbulent blue-green, with white foam from the breaking waves. In the upper part of the image, there are dark, swirling clouds and what appears to be a large, monstrous figure or structure emerging from the water, adding to the sense of danger and mystery. A large, solid red rectangle is positioned on the left side of the cover, containing the text.

Вадим Сухачевский

666

Роман

Вадим Сухачевский

666

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Сухачевский В. В.

666 / В. В. Сухачевский — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Католический священник Беренжер Сонье находит древние свитки. После чего начинает твориться нечто непонятное: он неведомым образом сказочно богатеет, Ватикан разрешает ему двоеженство. Сплошные загадки! Рассказ ведется от лица некоего Диди, который прошел все круги ада, чтобы понять, кто же он, отец Беренжер. Остросюжетный роман с мистическим и детективным сюжетом.

© Сухачевский В. В., 2017

© ЛитРес: Самиздат, 2017

Содержание

Роман	6
Глава I	7
Ренн-лѐ-Шато	7
Париж	23
Глава III	38
Парижские встречи	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

ЗАГАДКА ОТЦА СОНЪЕ

Роман

Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познавши, возвратиться назад
2-е посл. Петра (2:21)

...и настала тайна и тишина вокруг него
Нищие

Часть I
ПРЕДДВЕРИЕ

Глава I

Ренн-лѐ-Шато

...как звон разбившейся сосульки (она уже мертва, но ее звук еще живет в воздухе):

– Didi!.. (*Голос матушки.*) Tu as disparu de nouveau?... Didi, chaton, où es tu?!..

Когда звала? На каком языке? И – было ль?

Кто знает...

Нынче мне 99 лет. Правда и домыслы о моей жизни так же неразделимы, как эти две девятки. Почти все люди, родившиеся тогда же, когда я, давно ушли из жизни. Перерисованы географические карты, умерли названия вещей. Я здесь поистине инопланетянин. Мое прошлое прячется в такой дали, что, оттуда выкарабкиваясь, не мудрено заработать одышку.

99... Всего один крохотный шаг – и на месте сгорбившихся под своей тяжестью девятки появятся кругленькие нулики, колечки, не имеющие ни конца, ни начала. Нулижды нуль. Ничего. Я еще не родился, нет меня. Какая разница – уже нет, или еще нет, – оба эти небытия, называемые “меня нет”, по сути неразличимы и одинаково близки.

Нет, старость не забывчива (что бы там о нас ни напридумали). Просто память старика становится слишком малым вместилищем для прожитых времен, им тесно, все они рядом. Они норовят вырваться из этой сутолоки и беспорядочно, незвано вклиниваются в твоё сегодня. Стоит ли, поэтому, удивляться, что по соседству от старика, доживающего свой век среди российских снегов, вдруг окажется двенадцатилетний мальчуган, обретавшийся когда-то в теплой Франции, на реке Ода, в десяти лье от городка Каркассона, в захолустной лангедокской деревушке Ренн-лѐ-Шато, что у восточных отрогов Пиренеев?

Мальчик был неуклюж и временами весьма нерадив.

Мальчик постоянно хотел есть.

Мальчика звали... Ну да, как-то, как-то его, безусловно, звали...

Возможно, впрямь его тогда звали Диди...

Отец Беренжер

– Диди!.. Ты опять пропал?... Диди, котенок, ты где?!..

Лучше не отзывать. Кто бы мог знать, что матушка вернется так скоро и в самый неподходящий момент – когда я, проскользнув на одну лишь минутку в чулан, зачерпываю пальцем яблочное повидло, которое она бережет для рождественского пирога.

Машинально вытираю палец о рубашку, отчего на ней тут же остается липкое пятно. И чего ты добился, Диди? Теперь уж точно пары оплеух, столь же неминуемых, как то, что завтра будет четверг.

Матушка уже у двери чулана:

– Котенок, Диди, ты тут?

Сейчас ты будешь у нее, Диди, котом шелудивым... Делать нечего, выхожу, воровато пряча глаза. И, конечно, матушка с первого взгляда все понимает.

– Ах, вот ты где, Дидье... – сразу поледеневшим голосом произносит она.

Уж если я не Диди, а Дидье, то порой оплеух дело может и не ограничиться. Однако ничего такого не следует.

– Вот он, мой сиротка Дидье, – говорит она, обернувшись к кому-то. – Забирайте его с собой, так дом целее будет.

Тот, к кому она обратилась, переступает порог, и оказывается, что это наш местный кюре, отец Беренжер Сонье. Высоченный, он входит пригнувшись, чтобы не задеть дверную притолоку. Он всегда мне нравился, наш преподобный Сонье – моложавый, хотя ему было уже под сорок, стройный, с вьющимися черными волосами, с чуть насмешливым взором, с простой, ясной речью, он выгодно отличался от всех других кюре, которых я видел в окрестных деревнях. Те были, как на подбор, плешивыми недомерками с головами, растущими прямо из плеч, гнусавили непонятными словами и смотрели тебе не в глаза, а куда-то между шеей и подбородком. Нет, наш отец Беренжер был не таков. Он скорее походил не на кюре, а на гвардейского офицера, привыкшего носить не сутану, а драгунский мундир. Говорили, что он происходит из старинного, хотя и обедневшего, дворянского рода, когда-то прославившего Лангедок, (их родовой замок, увы, давно кем-то перекупленный, до сих пор возвышается неподалеку от Каркассона). Преподобный в молодости начал было военную карьеру, но что-то там, видать, не задалось, и он, вдобавок разругавшись с семьей, выбрал для себя нынешнюю стезю. Однако он был кюре самый что ни есть всамделишный, и семинарию окончил чин чином, и латынью (говорят) владел похлеще, чем даже аббат Будэ из Ренн-лэ-Бен, и еврейский язык знал так, что, сказывали, однажды в знании древних книг на этом языке заткнул за пояс каркассонского ученого жида рэба Соломона Лурье. По всему, иметь бы ему приход не в каком-нибудь Каркассоне и даже не в Марселе, а, глядишь, в самом Париже, но он по собственной воле выбрал нашу деревушку Ренн-лэ-Шато, о которой, если бы не отец Беренжер, так уже, наверно, и в двадцати лье от нее никто бы не вспоминал. Нынче же в окрестностях про нее говорили: та самая Ренн-лэ-Шато, где кюре – отец Сонье. Он был большей достопримечательностью наших мест, чем оливковые рощи на Оде, чем монастырь в Лэ-Бен, чем древние руины тамплиерских крепостей и храмов. За это наша деревенщина платила ему почтением, и легко прощала то, что едва ли простила бы любому другому прелату – и купание в реке на виду у честного народа в срамном полосатом купальном костюме, и то, что пахло от него не так, как от прочих кюре – смесью нафталина и ладана, а тончайшим парижским одеколоном (на что он, при его-то скудном жаловании, тратил деньжищ, небось, словно какой-нибудь барон), и опоздания к мессе, и даже то, что восемнадцатилетняя девица Мари Денарнан, дочь кузнеца Симона Денарнана, которую отец Беренжер нанял кухаркой, уже через неделю после того перестала возвращаться на ночь в отчий дом.

Но несмотря на всю мою любовь к господину кюре, несмотря на его приветливую улыбку, слова матушки “забирайте его с собой” заставили меня на миг похолодеть. Уж не в монастырь ли она меня надумала упрятать? Конечно, поруганное повидло взывало к наказанию, но все-таки подобной кары я, право, не заслужил.

Впрочем, отец Беренжер, видя мое смятение, поспешил все разъяснить.

– Твоя матушка, – сказал он, – любезно позволила мне взять тебя в сопровождение. Надо перенести кое-какие вещи. Не возражаешь, Диди? Правда, далековато – но ты же у нас крепкий мальчуган.

– Небось, не переломится, – проворчала матушка. – Хоть какое дело. А то... – Она безнадежно махнула рукой. – Сейчас, господин кюре, я только вам обоим поесть соберу – поди, до ужина-то не управитесь.

– Премного благодарен, мадам Риве, – поклонился отец Беренжер. – Да, к ужину, не взыщите, точно не успеем. Но до полуночи, это уж я вам обещаю, вернемся, не извольте беспокоиться.

...Разумеется, взмокли мы уже минут через пять, потому что мы шли по заброшенной дороге, ведущей в горы. От меня уже всю разило потом, а отец Беренжер по-прежнему знай благоухал своим одеколоном, и каким образом ему это удавалось, один Господь знает.

Куда мы направлялись, теперь уже я решительно не понимал. Если, как мне думалось вначале, в Ренн-лѐ-Бэн, к его другу аббату, так это в обратную сторону. Впрочем, о том, что мы идем не к аббату, легко было догадаться сразу, при виде поклажи, кою мне предстояло нести: из мешка торчали рукоятки заступа, кирки, еще каких-то инструментов – к аббатам в гости с такой кладью не жалуют.

Места, в сторону которых я шагал вслед за кюре, издавна считались недобрыми в наших краях. Если выйти по этой дороге из деревни, то по правую руку, на холме Ле Безу, увидишь поросшие кустарником развалины крепости, последнего, как я слышал, оплота еретиков-катаров. Лет семьсот назад крепость после длительной осады захватили рыцари христианского воинства, тех, кто остался в живых, посадили на колья, врытые вон на том земляном валу, и еще много дней, – где-то, говорят, это даже записано, – стенания умирающих оглашали округу. А души их, – многие слышали, – до сих пор там воют по ночам. Ясное дело: еретики. Их душам и в Чистилище не место – так им здесь, верно, и быть до самого Страшного Суда.

По левую руку, на горном плато вдали, чернел, как гнилой зуб, полуразвалившийся замок других еретиков – тамплиеров. Этих уже Филипп Красивый сжег вместе с замком, лет эдак через сто после катаров. То-то и перекликаются по ночам богопротивные души над *нехорошей* дорогой (так ее испокон веку называли в наших краях).

Однако вскоре мы свернули с этой дороги на боковую тропу. Теперь было ясно, куда мы направляемся. Там, на самом краю деревни, противоположном нашему дому, стоял заброшенный храм Марии Магдалины, проклятый Святой Церковью в те же стародавние времена за какие-то прегрешения, только туда эта тропа и вела. Мало кто у нас по ней хаживал, место считалось черным. Не таким черным, конечно, как тамплиерский замок, но тоже хорошего мало: ясно, без причины папа Римский самолично проклинать бы храм Божий не стал. Про страхи, что творятся в этом храме по ночам, тоже у нас рассказывали: тут тебе и призраки, и оборотни, и какая-то (тьфу ты! срамота!) волосатая нагая женщина, вытворяющая черт-те что. Не могу сказать, чтобы я во все эти байки сполна верил, поскольку слышал их один раз от нашего пьяницы старика Рене, который, когда напьется, и монаха, поди, за оборотня примет, а другой раз от дурачка Потьена, с детства тронутого умом – ему, одержимому, и не такое могло привидеться, он даже, когда умер, был похоронен за кладбищенской оградой, как и должно для сумасшедшего. Но чтобы мне самому, по доброй воле взбрело в голову пойти к этому проклятому храму – нет уж, поищите другого олуха.

Однако, судя по направлению, отец Беренжер держал путь именно туда, никуда больше не вела эта дорога. Но вид у господина кюре был настолько беззаботный, что и я припрятал до поры свои страхи, тем более что, по моему представлению, нечисть, если она вправду существует, все же должна была бы поостеречься безобразничать в присутствии рукоположенного отца церкви.

Деревня наша Ренн-лѐ-Шато достаточно протяженная. Когда-то (тот же отец Беренжер говорил) она была городом, едва ли не таким же, как Каркассон, известным центром еретиков, и только после их разгрома стала деревней. Домов с тех пор, конечно, поубавилось, но от одной окраины до другой топать и топать. Мы еще не прошли и половины пути, когда я, весь взмыленный от жары, начал отставать. Мешок был не то чтобы тяжел, но неудобен: опустишь ниже – заступ волочится по земле, возьмешь выше – какой-то ящик углом бьет тебя при каждом шаге по седалищу.

Видя мою муку, отец Беренжер сначала сбавил шаг, потом предложил мне передохнуть. Но после минутной передышки мешок ничуть удобнее не стал, а седалище мое, уже было притерпевшееся к ударам, теперь уже решительно отказывалось их переносить и, упреждая боль, при ходьбе вихлялось взад-вперед, как у дурачка Потьена, когда он, блаженный, изображал какое-нибудь непотребство. Тогда господин кюре сам взялся за мешок:

– Давай, Диди, теперь моя очередь.

Ну, это уж дудки! Чтобы преподобный отец волочил на горбу мешок, а деревенский ува-лень налегке семенил сзади, – где это видано? Да мне после этого на улице не показаться – засмеют! Что-то в этом роде я ему и сказал, вырвал у него мешок и припустил быстрее.

– Ты, я вижу, упрям, – снова настиг меня отец Беренжер, – а идти еще далеко. Если ты свалишься, это будет на моей совести. Упрямство – грех.

– А если кюре с мешком горбатится – это не грех? – огрызнулся я. – Может, в Марселе они только так и расхаживают, но у нас не Марсель. – Со зла чуть было не прибавил, что, может, в Марселе преподобные отцы еще и в полосатых купальниках скачут у всех на виду, и к проклятым храмам каждый Божий день с заступами трусят, но вовремя придержал язык.

– Ладно, ворчун, – улыбнулся отец Беренжер. (Это я-то ворчун! Умел бы он мысли слушать!..) – И что прикажешь делать? Разбить лагерь, устроить привал? Если ты так хорошо знаешь здешние обычаи, подскажи – как бы на моем месте поступил другой кюре?

– Другой кюре, – сказал я, – давно бы завел себе осла. Даже господин аббат Будэ не гнушается ездить на осле.

– Гм, возможно, ты прав, – согласился он. – Но, к сожалению, у меня пока нет осла. Да и хорошо бы я смотрелся верхом на осле!

– Уж не хуже, чем с мешком на спине! – буркнул я. – Уж коли вы кюре, то брали бы пример с Господа нашего Иисуса Христа.

– О чем ты, малыш?

– О том самом! На чем Он, по-вашему, въехал в святой град Иерусалим?

– Твоя правда, – согласился отец Беренжер. – А при нынешнем начинании уподобиться в этом Ему – пожалуй, было бы тем более кстати. – Произнес он это задумчиво и вполне серьезно, только вот что он имел в виду – поди его пойми (потом уже приучил себя вдумываться в смысл его порой весьма туманных слов). – Однако, – продолжил он, – осла нет, вот в чем беда. Такова уж данность. Что скажешь, исходя из нее, мой друг?

– А то скажу, что осла, коли надобно, можно и взять.

– М-да, пожалуй, пожалуй... – Кюре достал кошелек. – И за сколько его, как ты думаешь, уступят?

Вопрос был не лишний. Жалованье у сельского кюре, всем известно, скромнее некуда – всего лишь 150 франков в год, а народ у нас тут скаредный и даже с простого священника каждый готов содрать столько, что, небось, и самому папе Римскому мало не покажется.

Однако, затеявая разговор об осле, я, хотя и преследовал свою корысть, но вовсе не за счет кошелька нашего бедного кюре. В эту самую минуту мы как раз проходили мимо дома моей тетушки Катрин, женщины добрейшей и набожнейшей, и в хозяйстве у нее как раз имелся подходящий ослик. Корысть моя была даже двойной: во-первых, переложить мешок со своей спины на ослиную (для того ее и Господь создал), причем совершенно бесплатно – тетушка ни за что не станет брать денег с преподобного отца; во-вторых – не накормив обедом, хлебо-сольная тетушка ни в какую не выпустит из своего дома господина кюре, а уж заодно – и меня грешного (матушка-то, видно, решила, что с меня и повидла из чулана будет вполне довольно).

Я посоветовал отцу Беренжеру убраться его кошелек.

– Да так уступят, – заверил я его. – Как вы там в давешней проповеди говорили: "... дающему – да воздастся..." Как-то вы еще лучше сказали... Уступят, сами увидите, – с этими словами я открыл калитку.

Катары, тамплиеры, ослик Дуду и мой зубастик прадедушка Анри, который некогда сжег Москву

И сразу же донеслось из-за розовых кустов, росших перед домом:

– ...Неприятель на левом фланге! Первая батарея, картечью заря-жай!.. Пли!

За сим не преминул последовать залп. Посыпалась на нас, правда не картечь, а сушеный горох, и громыхнуло отнюдь не из пушки, а из... как бы это попристойней-то выразиться... из другого, в общем, орудия. Ибо в кустах пряталась вовсе не батарея, а один-одиошенек мой столетний, выживший из ума, прости его, Господи, прадедушка Анри.

Мой прадедушка Анри пользовался едва ли не большей известностью в наших местах, чем даже отец Беренжер. И дело тут было не только в его сверхпочтенных летах, и не в том, что недавно у него начали заново расти зубы, а в том еще, что он когда-то своими глазами видел Наполеона Первого, вместе с ним участвовал в российском походе и во время этого похода там, в Сибири, даже сжег их столицу Москву. Потом был русский плен, где он, в ту пору еще двадцатилетний капрал артиллерии, потерял все пальцы на ногах, – они просто отвалились, не выдержав сибирских морозов, потому всю оставшуюся жизнь он ковылял в специальных крохотных башмачках, похожих на копытца, – и откуда вынес несколько русских слов, из которых одно, особенно ему, видимо, полюбившееся, и непонятное, как сама Россия с ее смертными холодами, повторял при всяком случае: слово “говнюк”.

– Еще раз заря-жай! – не унимался он. – По *говнюкам* из всех орудий – пли!..

Лишь сейчас мне дано осознать, что он вовсе не был безумцем, мой бедный прадедушка. Просто на его замыкании витка тоже слиплось все комом, и розовый кустарник в Ренн-лэ-Шато был, может, в двух шагах от русской столицы, которую ему, совсем молодому капралу, еще только предстояло спалить дотла.

Швырнуть новую горсть гороха он все-таки успел, но совершить новую непристойность из того места, которое он считал артиллерийским орудием, ему не дала тетушка Катрин, она уже мчалась с крыльца к нам на выручку с криком:

– Чтоб тебя!.. Прекратишь ты это наконец?! Не видишь – сам господин кюре к нам пожаловал! И правнук твой, сиротка Диди... – Потом, приложившись к руке отца Беренжера, сказала мне: – А ты растешь, Диди, как на дрожжах. Недавно ж виделись – а с тех пор еще, по моему, вымахал.

Прадедушка Анри наконец выбрался из кустов, подошел к нам и, кажется, меня все-таки узнал, потому что, потрепав мою шевелюру, произнес с одобрением:

– Настоящий *говнюк*.

Я с ходу завел было разговор насчет ослика – де, не уступит ли тетушка его нам с отцом Беренжером до вечера.

– Да будет, будет вам ослик! – пообещала она; впрочем, тут же, не обманув моих ожиданий, добавила, что, ежели в кои веки к ней в дом пожаловал сам господин кюре, то она слышать не желает ни о каком паршивом осле до тех пор, пока господин кюре не соизволит у нее отобедать, благо, все готово уже и осталось только накрыть на стол.

Из дома томительно тянуло жареной бараниной. Отец Беренжер открыл часы и, вздохнув, кивнул. Мы поднялись по крыльцу. Прадедушка Анри семенил сзади на своих круглых копытцах.

За обедом тетушка завела разговор о том, что нынешней ночью опять выли души еретиков над *нехорошей* дорогой, воя такого давно уж не было, и спросила господина кюре – не к Страшному ли Суду близится дело, если так забесновались?

– А если кто-то в свистульку подует и она засвистит, – с улыбкой сказал отец Беренжер, – по-вашему, там, внутри свистульки, тоже чья-то душа беснуется?

– Вы шутите, господин кюре, – растерялась тетушка. – Одно дело свистулька, а тут...

– Да то же самое! – перебил ее преподобный. – Вспомните, мадам Готье, в какую сторону дул ветер этой ночью?

– Кажется, в северо-западную...

– Именно так! А дорога идет в каком направлении?

– Ну, в юго-восточном...

– И зажата она между гор.

– Ясно, зажата.

– И ветер дул вдоль дороги. Вот и получается, мадам Готье, что дорога – это желоб, такая же, если угодно, свистулька, с тем лишь отличием, что она огромных размеров, потому и голос у нее куда более зычный. Надеюсь, теперь вы, мадам Готье, будете по ночам спать спокойнее.

– Ох, не знаю... – вздохнула тетушка Катрин. – Не грех ли такое говорить, отец Беренжер?

– По-моему, – отозвался господин кюре, – гораздо худший грех силиться проникнуть разумом в промысел Божий, повелевающий голосами душ, когда все объясняется хорошо известной наукой аэродинамикой. Вы со мной не согласны, мадам Готье?

– Да как сказать... – проговорила она, и по ее виду было ясно, что, несмотря на авторитет господина кюре, она большей частью осталась при своем мнении. На какое-то время повисла тишина, наконец тетушка все-таки отважилась спросить: – Ну а то, что возле храма Марии Магдалины человеческие кости выступают из-под земли – это что, тоже аэро... как бишь вы там изволили выразиться?

– А это еще проще, – словно не заметив ее иронии, сказал отец Беренжер. – Храм построен в шестом веке, еще при первых Меровингах. Вплоть до Альбигойской войны, то есть пять-шесть столетий, на его земле хоронили людей. Сколько там человеческих костей – только представьте себе! А почва там плохая – глина, песок, весенние ветры ее понемногу выдувают. Вот к нынешнему времени и начали обнажаться слои тех старых захоронений. Посему слова Святого Писания о том, что возгласят трубы Господни, и восстанут мертвые из праха, тут, право же, ни при чем.

Признаюсь, мне после его объяснений стало несколько легче, и даже тетушкина ароматная баранина с тмином показалась еще слаще на вкус, а то, признаться, я все же несколько трусил идти на ночь глядя в место со столь дурной славой. Не такова, однако, была моя тетушка, чтобы сдаться так легко.

– Но ведь не станете же вы отрицать, отец Беренжер, – несколько поразмыслив, сказала она, – что в этом храме служили свои мессы и еретики-катары, и проклятые тамплиеры?

– Это, безусловно, так, – согласился господин кюре. – Только неплохо бы еще разобратся, в чем заключалась их ересь.

– Вы, конечно, человек ученый, господин кюре, – несколько даже покровительственно сказала тетушка, – но нам тут, людям простым, и без науки, без этой вашей “аэро...” ясно, что еретики – на то они и называются еретиками, что, прости, Господи, служат сатане.

– И для этого строят христианский храм?.. Нет, госпожа Готье, кабы все было так просто, как вы говорите... Ересь в том, что по-своему трактуются некоторые догматы, кои считаются общепринятыми. Взять, к примеру, тех же помянутых катаров. Среди длинного списка их прегрешений числится и тот грех, что даже на Пасху они ели только постную пищу, даже курицу не могли резать.

Тетушка Катрин смотрела на него недоуменно:

– Вы хотите сказать, что – только за это их?..

– Ну, не только. Были также обвинения в манихействе и гностицизме, иудохристианстве, приверженности к деспозинской доктрине, но это уже такие сложные материи, что едва ли я мог бы сейчас вот так вот, коротко... Зато крестовый поход против них возглавлял граф Симон де Монфор – он-то уж был отъявленным безбожником, это я вам точно говорю. Бойня шла тридцать пять лет, мученической смерти предали сотни тысяч людей, в одной только семинарии в Монсегюре заживо сожгли три сотни человек, места, некогда благодатные, совсем опустели. Потому, кстати, и наша Ренн-лё-Шато из большого в ту пору города превратилась в захолустную деревушку. В истории Лангедока вообще было много крови... Если же взять тамплиеров, то некогда сам папа благословил этот орден рыцарей-монахов, известный своим благочестием, а заботой их было – сопровождать паломников в святую землю Палестины. Но

богатство ордена не давало покоя нашему королю Филиппу Красивому, а на расправу он был весьма скор. Лучше, чем ересь, конечно, предлога не придумаешь, и за грехами дело не станет. К примеру: они почитали Марию Магдалину выше, нежели Христовых апостолов...

– Гм... – вставила тетушка, – но вот это уж, по-моему, все-таки грех! Хоть и не смертный – но грех!

– Как знать, как знать, мадам Готье, – возразил отец Беренжер. – Вопрос достаточно спорный. В Святом Евангелии сказано, что Господь наш Иисус Христос называет ее своей любимейшей ученицей, а Ему, надо полагать, было видней, чем нам с вами... Впрочем, в списке обвинений значилось и то, что они не признают святой силы в изображении распятия...

– А вот это уж грех так грех! – восторжествовала тетушка Катрин, но отец Беренжер сказал задумчиво:

– Ах, не торопитесь с выводами, мадам Готье. Здесь тоже возможны самые разные толкования. Может, мы когда-нибудь после с вами и об этом потолкуем, а пока... Премного благодарен за великолепное угощение... – Но прежде, чем он успел встать из-за стола, тетушка спросила, глядя на него теперь уже подозрительно:

– Одно только скажите мне, господин кюре: ко всей этой *аэро*... ко всему, о чем вы только что говорить изволили – как нынче Святая Церковь относится к этому всему?

Отец Беренжер в эту минуту думал уже о чем-то своем.

– Не могу сказать, что однозначно, – проговорил он. – Но там ведь тоже не все заковано навеки. Вон, еще и четырехсот лет не прошло, а уже в самом Ватикане подумывают о признании гелиоцентрической модели Коперника, так что, глядишь, со временем...

– Понятно, – произнесла тетушка Катрин, и по ее лицу было видно, что таким ответом господин кюре изрядно уронил себя в ее глазах. – А куда это, позвольте полюбопытствовать, – спросила она, – вы собрались с лопатой и киркой.

Своим ответом отец Беренжер на миг ввел ее в оцепенение.

– Да вот как раз в храм Марии Магдалины, – просто, как о чем-то зауряднейшем, сказал он. Потом, видя, как округлились глаза, поспешил прибавить: – Не извольте волноваться, мадам Готье, это уж, видит Бог, с одобрения Святой Церкви. Недавно епископ одобрил мое и аббата Будэ прошение о ремонте сего древнейшего и весьма почитаемого храма и уже выделил некоторую сумму денег. Как раз я и отправляюсь на предварительный осмотр. А если вы еще, взаправду, любезно предоставите мне своего ослика... Не беспокойтесь, обещаю вернуть не позже одиннадцати часов вечера...

Ссылка на достопочтенного аббата Будэ и на самого епископа, правда, поубавили тетушкин испуг, но сказать, что наша затея с походом туда сразу пришлась ей по душе – это было бы все-таки чересчур.

– Другой печали не было как волноваться из-за какого-то паршивого осла, – лишь буркнула она, поджав губы. – Забирайте, коли так надобен.

Меня же объяснение отца Беренжера полностью устроило. До сих пор я в тайне побаивался, что мы идем заниматься гробокопательством или еще какой некроманией, но если вправду все обстояло так, как он говорил...

Во дворе уже перебирали землю шесть копытцев, из которых четыре принадлежали тетушкиному полуторогодовалому ослику Дуду, а два – моему столетнему прадедушке Анри.

– Она горела, как факел, – подводя к нам ослика, приговаривал он. – Вот так вот: пшш! пшш! Она вся сгорела дотла: пш-ш-ш! – и все!.. – Настолько он, бедняга, путался во временах, что было неясно – говорит он это о сожженной им на пару с Наполеоном Первым русской Москве или о катарской семинарии в Монсегюре, уже, наверно, все ему было едино. Вон, даже зубы у него до того заплутались во времени, что торчали из бескровных десен беленькие, словно принадлежали не столетнему старику, еще полгода назад беззубому, как новорожден-

ный, а молоденькому, бравому *говнюку*-капралу артиллерийской батареи, который еще и не вступил в Москву вместе со своим императором.

Солнце уже клонилось к закату, когда мы наконец снова двинулись в путь. Отец Беренжер сразу же наотрез отказался садиться на ослика, – ну да при его гренадерском росте это, пожалуй вправду, выглядело бы несколько забавно, – мы лишь водрузили на спину Дуду наш мешок и вдвоем вели его под уздцы.

Дальше дорога сузилась и стала круто забираться вверх. Это и был путь к храму Марии Магдалины, мрачно возвышавшемуся на голом холме. Даже налегке, без мешка, идти становилось с каждой минутой все труднее. О чем я думал в те минуты, когда мы туда поднимались? О том, почему это от нашего Кюре после тетушкиных харчей не разит ни бараниной, ни чесночным соусом, а уж потом-то – и подавно. О том, что восстановить такую развалину, как этот храм, должно быть, влетит в хорошенькие деньги. О том, что сапоги у нашего господина кюре совсем износились, – вот о чем бы ему тоже подумать, а не только о старых руинах и об этой его *аэродинамике*. О том, развеется ли к вечеру матушкин гнев на меня. И уж конечно, не могло у меня быть мыслей о том круге невероятных, порой отдающих жутью событий, который мы с ним нынче же разомкнем.

Об этом я имел представление не больше, чем наш ослик, который цокал себе копытцами, не ведая никаких забот, не ведая о том, что тоже вместе с нами входит в историю.

И мешок его нисколько не тяготил, нашего Дуду, и дорога ему не казалась слишком крутой. Он брел себе, не сбавляя шага. Он был молодец, этот ослик Дуду. Настоящий неутомимый *говнюк*!

Сейчас думаю: ну а он-то, отец Беренжер, он-то в ту минуту ведал, какой круг вознамерился разомкнуть? Когда-то мне казалось, что – да.

Теперь, на своем замыкании круга, уверен, что все ведомо лишь тому, кто первым бросил камушек в воду, именуемую временем, и со своей выси наблюдает, как разбегаются все круги.

Если ОН есть, то лишь ЕМУ в ту минуту было ведомо, сколь причудливо изовьется жизнь нашего сельского кюре и какими кривотолками обрастет его кончина, коя случится через тридцать два года; и как за несколько дней до кончины отца Беренжера другой кюре явится к нему, дабы исповедать, а через несколько минут в ужасе выбежит вон и с тех пор, не выдержав груза обрушившейся на него тайны, навсегда перестанет разговаривать. И как, почуяв смерть отца Беренжера, сбегутся со всей округи бездомные псы и будут выть сутки напролет, невесть к кому взывая; и как он, – нет, не он, а уже его смрадный тлен, – будет восседать в кресле, как живой, выряженный в странную восточную мантию с кистями. И как съедутся кардиналы проводить его в последний путь, и как с некоторым страхом они будут взирать на его бранный прах, и как один из них произнесет над его могилой:

– Вот и всё...

И как будет непривычно: пусто и странно...

...И как расплзется потом, уже другими кругами, моя собственная жизнь, порой извилистая, с самыми непредсказуемыми изгибами, разросшаяся, подобно дикому кустарнику, местами отмершему и давно утратившему способность плодоносить, но зачем-то, вопреки чьему-либо хотению, он живет себе и живет...

Только сейчас, из моего сегодняшнего далека все это можно обозреть – так проступают контуры материков, если взирать на них со спутника, из космической выси.

Однако – туда, назад. Жара уже на спаде. Вечереет. Мир крохотен – едва больше видимой оттуда, с холма, излучины реки Оды и деревушки Ренн-лё-Шато, притулившейся около нее. И не придумано еще таких спутников, чтобы, на них взмыв, изгода обозревать круги судеб.

Скоро шесть часов по полудню. Мы с отцом Беренжером, едва поспевая за нашим осликом, поднимаемся к храму. Осталось сделать всего несколько шагов.

Ренн-лэ-Шато. Храм Марии Магдалины
(от 6 до 8 часов по полудню)

Мы с отцом Беренжером перенесли мешок в храм и, вместе навалившись, закрыли за собой тяжеленную дубовую дверь. Здесь было прохладно, пахло затхлостью, пылью и мышами. Внутренность храма освещалась через разбитые витражи и через дыры в потолке. Как это ни странно, сквозь одну из таких дыр на совершенно ясном небе отчетливо виднелась светящаяся звезда.

Отец Сонье порылся в пыли, поднял одно стеклышко от виража и вздохнул:

– Да, – проговорил он, – в чистом виде *Спиритус Мунди*¹. Работа старых мастеров. Тут сколько денег ни трать, а подобных витражей уже, как видно, не восстановить. Ты только посмотри, Диди.

Я взял осколок в руки. Стекляшка стекляшкой, ничего особенного.

– Были б деньги, – сказал я, – в Марселе вам и не такое сделают. У тетушки Катрин серьги есть, с виду самый что ни есть изумруд, а цена им полфранка. Марсельское стекло. Цыганки им с ног до головы обвешиваются.

– Экий ты у меня всезнающий! – улыбнулся господин кюре. – Так вот, послушай же, что я тебе скажу. Всех богатств мира не хватит, чтобы изготовить одно подобное стеклышко. Тут потрудились древние алхимики. В старые времена любой король отдал бы половину своего королевства, чтобы заполучить этот секрет. Тамплиеры, говорят, привезли секрет изготовления с Востока, из храма Соломона, но считали, что руки королей земных недостаточно богоугодны для обладания им...

Не очень-то я ему верил, но все же спросил:

– Вы сказали “алхимики”, отец Беренжер? Это те самые, что все в золото умели обращать?

– Вот, и ты туда же... – вздохнул кюре. – Может, в том и главная наша беда, что мы все мерим на золото, подобно царю Мидасу, потому Спиритус Мунди, или, по-другому, философский камень, и не дается нам. Я слыхал, где-то пытались изготовить нечто подобное этому (он указал на стекляшку), используя не столь давно открытый химиками рутений, – а он, имей в виду, по цене в сотни раз превосходит самое чистое золото, – но все равно из этой затеи ничего путного не вышло, да и выйти, конечно же, не могло. А золото – это, малыш, тлен, не стоящий разговоров.

Его послушать – так, может, и новые сапоги – тлен; ну, пускай себе и ходит в своих развалюхах. Но начет золота – это уж он точно загнул!

– Что же тогда в нем такого особенного, в этом вашем *Спиритусе*? – несколько разочарованно спросил я.

– Ну, всего-то сразу и не перечислишь, но некоторые свойства... Да вот, на, возьми в руки. – Он протянул мне свою стекляшку.

Я взял ее – и показалось, что на ладони у меня ледышка.

– Что чувствуешь? – спросил кюре.

– Холодная...

– Вот-вот, – кивнул отец Беренжер. – В жаркий день она нисколько не набрала тепла. Скажу больше: если бы даже мы сейчас бросили ее в огонь, она все равно осталась бы такой же холодной. А теперь зажми ее покрепче в кулаке и посмотри в него.

Я так и сделал.

– Ну, и что видишь?

¹ “Дыхание Вселенной”. Распространенный алхимический термин.

– Светится...

Она, действительно, освещала потемки моего кулака каким-то неземным, совершенно белым, идущим, казалось, откуда-то из бесконечной дали светом.

– Вот и представь себе, – сказал отец Беренжер, – какая прохлада и какой свет исходил от этих витражей, когда они были в целости!

Далее, кажется забыв о стекляшке, отец Беренжер развязал мешок и достал из него ящик, точнее большой красивый ларец из полированного красного дерева с какими-то золочеными знаками на крышке, я же потихоньку спрятал эту *Спиритус* в карман. Теперь она сквозь подкладку штанов ледяной иголкой покалывала ляжку. Ничего, потерплю. Стекла вправду была интересная. Золото, может, и не золото – а что-нибудь путное, хорошую резину для рогатки, к примеру, на нее выменять вполне можно.

Между тем, господин кюре открыл свой ларец, начал извлекать из него какие-то медные детали и весьма ловко свинчивать из них некий хитрый прибор. Затем, когда прибор был собран, он извлек из того же ларца большущий, явно старинный фолиант в сафьяновом переплете и с сосредоточенным видом принялся его листать, что-то непонятное при этом бормоча – точь-в-точь какой-нибудь чернокнижник. Я заглянул ему через плечо. Страницы были исписаны не по-французски и даже не на латыни, а, вероятно, какими-то басурманскими письмами, и его бормотание тоже не напоминало ни одно из христианских наречий.

Потом отец Беренжер все-таки перешел на французский.

– ...стоя у восточной колонны храма... – рассуждал он сам с собой. – Так и есть – вот она, восточная колонна... Двадцать четвертого августа... Именно так!.. В шесть часов по полудню... – Он сверился с часами: – Да, ровно шесть!.. Под гармоническим углом... надо полагать – под углом в шестьдесят градусов... К вечерней звезде, именуемой Энлиэль... – Он принялся внимательно разглядывать стены, на которых явно что-то было некогда изображено, однако уже настолько съеденное временем, что разгадать смысл изображенного вряд ли кому-либо удалось бы.

После бесплодных попыток увидеть что-нибудь простым глазом господин кюре приник к окуляру своего хитрого прибора. Спустя несколько минут он вконец отчаялся и обернулся ко мне:

– Диди, малыш, у тебя глаза молодые. Посмотри-ка внимательнее на эти стены – не видишь ли ты на них какую-нибудь звезду? Можешь через эту штуковину посмотреть – легче разглядеть будет.

– Отец Беренжер, – сказал я ему. – Помочь вам я всегда бы рад, но мне, право, боязно.

– И чего же ты боишься, малыш? Ты, насколько я знаю, отважный мальчуган.

– А того самого и боюсь, чего вы в своих проповедях бояться учили.

– О чем ты? – изумился он.

– Да о том самом, господин кюре. Страсть как не хочется гореть в аду.

Словно в подтверждение моих слов, и ослик наш что-то недовольное проголосил за дверью храма. Уж не знаю, существует ли ад для ослов, но что-то ему во всем этом тоже явно не нравилось.

– В каком еще аду? – сделал вид, что не понял, отец Беренжер. – Что ты такое придумал? Сия штука называется секстант – всего лишь навигационный прибор для измерения углов, и, клянусь тебе, греха в нем не больше, чем в очках или в кухонной скалке.

Ну да это он мог тетушке Катрин своими *аэродинамиками* пудрить мозги (и то навряд ли с большим успехом), а меня так просто не проведешь. Бог с ним, с секстантом или как его там, не в нем дело; а вот то, что мы тут чернокнижьем занимаемся – это, почитай, наверняка, и пусть-ка он попробует меня в том разуверить.

Ах, как он поначалу разгневался, как забил крылами своей сутаны! Де, думал он, что пришел сюда лишь с одним осликом, а оказалось – с одним осликом и вдобавок еще с одним осли-

щем, тупым и упрямым, как две тысячи ослов! Да только меня этим не проймешь – матушка едва ли не через день подобное говаривает. Стою себе, молчу. Жду.

Наконец, слегка поостыв, господин кюре перестал ругаться и сподобился перейти к объяснениям. Мол, в книге этой никакой некромании нет; она, книга эта, семейная реликвия их рода, очень древнего и весьма благочестивого; его, де, предки были едва ли не первыми и самыми праведными христианами тут, в Лангедоке, и подозревать в них каких-нибудь богопротивных ведунов-чернокнижников...

Все вроде складно, да только меня на мякине не проведешь. А на языке, спрашиваю, на каком эта книга? Хотя я, говорю, семинарию и не кончал, но уж отличу христианские письмена от тарабарских. Только не держите, отец, за дурачка, не говорите, что это латынь. Латинские буквы мы как-нибудь тоже видывали.

– Да нет, – теперь уже спокойно ответил отец Сонье, – вовсе не латынь. Книга написана на древнееврейском.

Ну вот и пришли: стало быть, и не христианская вовсе!

Но тут отец Беренжер сразу меня и озадачил: а на каком, спрашивает, по-твоему, языке разговаривал со своими апостолами Господь наш Иисус Христос? Уж право, не на латыни он с ними изъяснялся.

Тут он, пожалуй что, был прав. Но и меня так, с ходу не собьешь. Как там, говорю, Господь изъяснялся – это его дело, ему видней; только у нас, в Лангедоке, честные христиане всегда изъяснялись по-другому.

Теперь уже отец Беренжер улыбнулся.

– Ты взыскуешь к истине, Диди, – сказал он; – это, конечно, хорошо. Но, увы, ты слишком невежественен, чтобы ее доискаться. Известно ли тебе, что тысячу с лишнем лет назад здесь, в этих самых местах, располагалось древнее королевство Септимания?

– Не знаю, – буркнул я. – И при чем тут...

– Да при том!.. – перебил меня кюре. – Обитатели этого благочестивого королевства полагали, что истинным христианам, коими они, без сомнения, были, пристало разговаривать и писать священные книги не на своем, провансальском, и не на латыни, а только на том языке, на каком говорил сам Господь. На еврейском, стало быть. А мои предки, поведаю тебе, были не последними людьми в этом королевстве. Боязно даже сказать, от кого они числили свой род. Теперь понимаешь, надеюсь – нет ничего удивительного в том, что наша родовая книга написана именно на этом языке?... Ну как, упрямец, устраивают тебя мои объяснения?

Вообще, выглядело все равно подозрительно, хотя на словах получалось вроде бы складно. Что ж, если мы и творили грех, то на мне лежала лишь его крохотная толика: грех быть обманутым, а это уж, ей-Богу, не такой смертный грех, если бы за него все горели в аду, то на одних только школьных учителей никаких там дров не хватило бы. Да и любопытство меня все же разбирало – что он станет делать дальше со своим секстантом. Но и за “ослище” поквитаться я не преминул, и когда отец Беренжер снова спросил, не вижу ли я на стене какую-нибудь звезду, я ему сказал, что, хотя, может, и в грамоте не силен, и ни про какую аэродинамику и Септиманию не слыхал, но о том, что звезды ищут никак не на стенках – это уж я знаю точно, и не обязательно оканчивать семинарию и быть кюре, чтобы это знать.

– Ну, и где же?... – начал было отец Беренжер, но тут же примолк, ибо проследил за моим взглядом и уставился на дырку в потолке. В надвигавшихся сумерках звезда была видна еще отчетливее, чем прежде. – Боже! – воскликнул кюре. – Диди, тебя мне сам Господь послал!.. Какой же я, право, осел! (То-то же!)

Трясущимися от волнения руками он стал наводить на нее окуляр.

Теперь стрелка прибора указывала на кирпичную кладку слева от алтаря.

Отец Беренжер схватил кирку и метнулся туда. Помню, перед тем, как ударить по кладке киркой, на миг он в некоей нерешительности замер.

Сейчас-то знаю, что после первого же удара кирка провалится в пустоту. Но прежде был все-таки этот миг, когда он с поднятой в руках киркой стоял, замерев, и замерла его тень, пополам изломившаяся о стену, так же, как изломится спустя этот растянувшийся миг его, да и моя тоже судьба...

...Вот так же точно изломилась тень о стену камеры, тесной, как моя память. Нависнув надо мной, обладатель тени на довольно сносном французском спросил:

– Так и будете упорствовать, господин Риве?..

О чем он? После всех этих зуботычин, после парашной вони, после того, как тебя недавно – об эту же самую стену головой, отчего все времена – россыпью, как бисеринки из распахнувшейся коробочки, – да о чем же после всего этого он? Не так-то просто вспомнить.

Бил, впрочем, не он. Этот, именуемый обер-лейтенантом фон Шут-Его-Нынче-Упомнит, чувствовал себя настоящим прусским *говнюком* и потому вел себя достаточно сдержано.

– Нам все известно, господин Риве, – говорит он, – и напрасно вы отпираетесь.

Боже Правый, что же такое им известно?!

А то, господин Риве, что вы были доверенным лицом священника Беренжера Сонье и стояли у самых истоков тайны, которую он унес в могилу. И не рассказывайте, господин Риве, про сундук, что вы нашли там, в храме Марии Магдалины. Деньги, сокровища – все это нас не интересует. Да и не было там никаких особых сокровищ – в общепринятом, конечно, понимании.

Что же вас тогда интересует, господин фон Шут-Вас-Нынче-Упомнит?

А интересует его, оказывается, тайна отца Беренжера, тайна как таковая. Она, эта тайна, не может быть достоянием ничтожной горстки людей, большинство из которых уже отошло в лучший мир, быть может, и остался-то я один; нет, она должна быть достоянием... нет-нет, не всеобщим, разумеется, но достоянием лучших представителей нашей расы, настоящих, то есть, *говнюков*, к числу коих он милостиво готов причислить и меня. И не надо, господин Риве, рассказывать про сбежавшихся к его праху псов, мы об этом наслышаны, но мы, настоящие *говнюки*, не из пугливых. Нет, извольте самую тайну. Не заставляйте ждать, не заставляйте снова...

“Снова” означает, видимо, опять – головой о стену.

Но что я могу ему сказать. Можно ли собрать в горсть все бегущие по воде круги?

– Ну, вспомните же, – уговаривает фон Как-Там-Его. – Хоть что-нибудь. Например, с кем он встречался в Париже, когда взял вас туда с собой?

В Париже... Да, я был с ним в Париже... Отыскалась хоть одна из рассыпавшихся бисеринок... В Париже...

Ренн-лэ-Шато (три дня спустя)

– ...Диди! Вставай же, соня-Диди, проспишь все! Ему такое привалило, а он себе бока отлеживает!

Да что, что же мне привалило?!

А то, оказывается, что нынче спозаранок заходил отец Беренжер и просил отпустить меня вместе с ним не больше не меньше как в Париж!

Не в Каркассон какой-нибудь, даже не в Марсель, а в самый что ни есть Париж, – я не ослышался?!..

Тогда, три дня назад, сразу после находки в храме Марии Магдалины, – а был там вовсе не клад, как я, признаться, рассчитывал, а всего лишь какие-то старинные свитки в деревянной трубе, – наш господин кюре словно обезумел и тут же, схватив эту трубу, припустил сломя

голову к себе домой. Мне уже в одиночку пришлось грузить на ослика его скарб и отправляться за ним следом.

В дом к нему, однако, я не попал. Во дворе меня встретила его кухарка (или кем там она ему еще?) девица Мари Денарнан, босая, с распущенными волосами, и поведала, что полчаса назад отец Беренжер влетел к себе, как сумасшедший, выгнал ее за дверь, не дав времени даже причесаться и надеть башмаки, а сам заперся изнутри, теперь сидит в своей комнате перед лампой, на стук в окно не отзывается, водит носом по какому-то свитку, и вид – как у покойного дурачка Потьена, когда в того, в беднягу, бес вселялся, так что она уж подумывает, не сбрендил ли вправду наш преподобный кюре. Так, не достучавшись до него, она и отправилась, босая, в кои веки ночевать в родительский дом.

Не выходил он и весь следующий день, и еще день после; даже к пище не притрагивался, – это я потом от той же Мари Денарнан узнал. А вчера к вечеру вышел наконец и направился в нашу деревенскую лавку. Зачем, вы думаете? Покупать сапоги – первую обнову за шесть лет, что он прожил здесь, в Ренн-лэ-Шато.

И какие сапоги! В таких, небось, и в Париже не каждый щеголь хаживает! Диво – не сапоги!

Покойный сапожник Вато сшил их еще, наверно, до моего рождения. Сколько себя помню, они так и висели на стене в лавке – темно-коричневые, с ремнями на бронзовых пряжках, с невысокими голенищами из тисненой кожи, пропитанной одеколоном. Никто у нас на них и не зарился. Да кто позарится, когда цена им тридцать франков? Так себе и висели – для общей красоты и благоухания.

А отец Беренжер явился и, не раздумывая, их купил, отсчитав пятую часть своего годового жалования, – вот когда и поползли слухи по всей деревне: одни, поддерживаемые большинством, – слухи, что наш господин кюре окончательно сбрендил; другие, возникшие чуть позже, но и роившиеся гуще, – что там, в храме Марии Магдалины, он таки раскопал старинный клад.

Господи, какой клад?! Какой клад, тетушка Катрин, какой там клад, господин обер-лейтенант фон Шут-Вас-Знает, какой там еще клад, милые моему сердцу деревенщины?! Был бы, в самом деле, клад – так, уж наверно, он бы и с молочником, и с булочником расплатился, а то уехал, оставшись должным каждому из них по пятьдесят су. И девице Мари Денарнан оставил бы на прожитие поболее, а не всего один франк, как она всей деревне жаловалась. И чемодан бы в дорогу новый, кожаный купил взамен своего облезлого деревянного страшилища. И билеты до Парижа мы бы с ним, небось, взяли в вагон первого класса, а не тряслись в грязном четвертом, пропахшим чесноком и потом, вместе с сельчанами, едущими на базар, – каково это красавцу-кюре, благоухающему одеколоном? Уж это-то всем должно быть ясно, и вам, господин обер-фон-черт-вас-возьми, должно быть ясно в первую голову!

Сапоги же – совсем иное дело. Раскошелившись на них, вовсе он не сбрендил, наш господин кюре, совсем даже напротив. Только недоумок на его месте отправился бы в Париж в тех его прежних развалинах. А уж с той целью, что ехал туда отец Беренжер, тем паче. Париж – он по сапогам сразу видит, какова тебе цена, так-то! Париж – это вам, небось, не Пруссия ваша задрипанная, господин обер-фон!

Они самые, к слову сказать, сапоги, во многом и стали причиной того, что отец Беренжер брал меня с собой. Как объяснила мне матушка, в Париже господину кюре нужен будет мальчик, чтобы нес за ним чемодан и хорошенько чистил ему сапоги.

Ясное дело – не с девицей же Денарнан путешествовать в Париж благочестивому кюре!

Матушке отец Беренжер за то, чтоб меня отпустила, заплатил целых три франка, и еще мне обещал там, в Париже, каждый день выдавать на личные расходы аж по десять су. Довольна матушка была несказанно. Еще бы! Три франка – это поболее половины того, что могла наторговать со своего огорода за целый месяц. Наконец хоть какая-то польза от ее бездельника Диди!

Она даже из тех трех франков, что дал ей отец Беренжер, самолично купила в лавке восковую ваксу, нежно, не хуже его одеколona пахнущую, точь-в-точь под цвет его новых сапог, две щетки, одну помягче, другую пожестче, нарезала бархоток из своего старого халата и в который раз наставляла меня, как за такими сапогами надобно ухаживать: одно дело в сухую погоду, когда пыль, иное – в непыльный день, и уж совсем иное – после дождя. Сначала жесткой, потом, наложив ваксу, – мягкой, а там уже – бархоткой, пока не засверкают как зеркало. И никак не реже трех раз в день.

Господи! Да хоть по дюжине раз на дню!

Подумать только, завтра – уже завтра, завтра! – я еду с господином кюре в Париж, где не довелось побывать почти никому из нашей Ренн-лё-Шато! Нет, вы как хотите, господин обер-фон-как-бы-вас-там-ни-звали, а без Спиритус Мунди здесь точно не обошлось, без этой стекленции, что до сих пор холодит мне ляжку.

В Париж, где, как говорят, фонтаны бьют до небес, а дворцы из чистого хрусталя. В Париж, где все разъезжают в каретах, и где дома в десять этажей. В Париж, где от одного края до другого и в целый день пешком не дойдешь, а на всех площадях продают нежнейшее мороженое.

В Париж, где – —

– — ...ну да, господин обер-фон-черт-вас-возьми, да-да, именно так: спустя четыре дня мы отправились с ним в Париж!

Только почему ваша тень изломилась уже совсем по-иному и переметнулась в противоположную сторону?

Боже, да это совсем иная тень, изломившаяся совсем в иное время. Как неуправляемо скачут эти времена, когда тебе 99! И только камера кажется тою же: таково, видимо, свойство всех в мире казематов, что они неподвластны переменчивым временам.

И вовсе вы уже не обер-фон – ! Вы теперь *camarade*²... Ах, нет, не *camarade* – тамбовский волк мне теперь *camarade*... Вы теперь для меня *le citoyen*³... Да, именно так: Гражданин Следователь. А где-то там, за стенами, Москва, та самая Москва, где некогда мой прадедушка Анри оставил десять пальцев с обеих ног, чтобы дальнейший свой век скакать на круглых копытцах. Но, вопреки тому, что он говорил, Москва – это еще, оказывается, не Сибирь. В Сибири он бы так легко не отделался. Именно ею, Сибирью, и грозит мне *Citoyen* Следователь.

Гражданин Следователь молод, лощен. В руке – небольшая резиновая плеточка, которая иногда в воздухе посвистывает в пяди от моего носа – будто бы невзначай, эдак слегка-слегка. А интересует его лишь вот что:

– Так скажешь ты мне, сучий потрох, или нет, чем занимался твой сраный поп?..

Я еще не все понимаю на их языке, но основное уже успел уразуметь: ему для чего-то надобно знать, благодаря чему в свое время отец Беренжер добился такого благорасположения со стороны Ватикана и самого папы. Тут для Гражданина Следователя и иже с ним, явно, запрятана какая-то политика, возможность некоей гроссмейстерской шахматной комбинации с матом самому Ватикану в финале. Это я лишь предполагаю. Объяснять мне Гражданин Следователь ничего и не думает – надо ли объясняться со всяким “потрохом”, которому лишь некий загадочный тамбовский волк, лишь он один – *camarade*? Он только плеточкой своею в воздухе вжик, вжик, – и – в который раз:

– Давай, колись!.. Ну, скажешь ты, сучий?.. (*Etsetera, etsetera*⁴.)

² Товарищ (Фр.)

³ Гражданин (Фр.)

⁴ И так далее, и так далее (Лат.)

Бог ты мой, да, право, какое мне дело до всей их политики, какое мне дело хоть бы даже и до самого Ватикана? Я маленький человек Дидье Риве, которого судьба вплела крохотным узелком в некий слишком замысловатый узор. И, разумеется, я бы выложил все до капельки Гражданину Следователю – глядишь, он убрал бы свою плеточку с ее поцарапывающими душу “вжик, вжик”.

Но стоит мне сызнова пуститься в объяснения, как по его лицу пробегает рябь раздражения, и “вжик, вжик” еще на полпяди приближается к моему лицу. Мне ничего не остается, как поскорее примолкнуть, ибо мои бедные ребра, по которым не раз хаживала эта резина, подсказывают разуму, что так сильно раздражает сего Гражданина. Все мои разговоры про Сангреаль⁵, про Спиритус Мунди, про деспозитов, про истину о Марии Магдалине, про святого Иакова – все подобные слова действуют на него примерно так же, как на меня это зудящее в воздухе “вжик, вжик”.

Идеализм. Не однажды я уже слышал от него это слово. Им он обозначает решительно все, что я говорю. “Идеализм” – это у них здесь нечто вроде эдакого злого Бога, которого в этих стенах лучше лишний раз не поминать, а исповедующие этот самый “Идеализм” – некто вроде катаров, коих должно поголовно выжигать. У них тут, у Граждан Следователей, Бог другой – Бог, имя которому Материализм, и они, два эти божества так же несоединимы и взаимно непримиримы, как Ормузд и Ариман, как Саваоф и Люцифер. Я готов поверить, Гражданин Следователь, что ваш Бог прекрасен и добр, как материнская любовь, но – увы, увы! – не к моим бедным изрубцованным ребрам.

Однако, Samarade... Однако, Citoyen Следователь! Однако я клянусь вам, клянусь самым вашим Добрым Материализмом – ничего другого я не в силах вам сказать! И не в том дело, что еще не приспособился к вашему языку, не в том даже, что мне не дают спать уже шестые сутки кряду, из-за чего голова моя гудит от перемешавшихся в ней времен, подобно медному котлу, если по нему долго бить кувалдой. Просто что-либо тут объяснить, не пользуясь хотя бы понятием о том же Сангреале или о Семгамфоре⁶ – это, право, то же самое, что попытаться описать ночное небо, ни словом не обмолвясь о тьме, мириадах звезд и луне.

И, кажется, то ли он, то ли его Добрый Бог – Материализм, кто-то, в общем, из них двоих, кажется, вдруг понимает меня. И, поняв, отпускает. Нет, не назад, к параше, в камеру на тридцать шесть душ. И не в полное небытие, до которого мне от этой камеры рукой подать. Он, этот КТО-ТО, отпускает меня в полубытие, в сладостное забвение, в вольное блуждание по временам.

Бумажное эхо

(из документов, доставших меня спустя много лет, воистину неисповедимыми путями)

Из отчета жандарма деревни

*Ренн-лэ-Шато капрала ****

шефу жандармов Каркассона

*капитану ****

...также сообщить Вам о потраве угодий крестьянина Реми свиньей, принадлежащей крестьянину Валансье, вследствие чего между названными крестьянами произошла драка с

⁵ Сангреаль (Грааль) – понятие, крайне рознящееся в различных мистических учениях. Единой трактовки нет. Наиболее распространенный смысл – чаша с кровью Христовой. Но зачастую трактуется несравнимо шире – как истоки всего Вероучения или же как некая Тайна, доступная лишь посвященным.

⁶ Семгамфора – по каббалистическому учению, совокупность всех имен Божьих, расположенных в определенном порядке, и обладающая великой мистической силой.

нанесением увечья (перелом носа) крестьянину Валансье, который, в свою очередь, выкрикивал непотребное, призывая вернуть Францию ко временам Коммуны...

...Также, по сведениям, получившим широкое хождение во вверенной под мой надзор Ренн-лэ-Шато, здешний кюре Беренжер Сонье, прихватив с собою мальчика Дидье Риве...

(Ах, про ослика, про ослика вы еще забыли, господин капрал! Не полон Ваш отчет без ослика-то!)

...и орудия для раскопок, вечером *** числа отправился в храм Марии Магдалины, что на холме, и, как мне стало известно из тех же слухов, раскопал там немалый клад...

...сообщаю, что оба крестьянина, участвовавшие в бесчинстве, взяты мною под арест.

Что касается упомянутого отца Сонье, не отдавшего, согласно закону, должную долю Французской республике, то никаких мер по отношению к нему я пока не принимал, ибо к лицам духовным едва ли применимы меры, которые обычно...

...ввиду чего жду Ваших дальнейших указаний.

...Прошу также рассмотреть мою повторную просьбу о переводе меня для продолжения службы в Каркассон.

В Ренн-лэ-Шато, капралу ***

...крестьянина Реми подержать взаперти два дня и отпустить; крестьянина же Валансье за недопустимые высказывания направить в Каркассон в ручных кандалах...

...касательно кюре Сонье имел вчера беседу с епископом. Его совет: преподобного покамест не трогать и слухи о его находке, бродящие по деревне, насколько это возможно, пригасить...

...также напомнить Вам, что о переводе Вас в Каркассон пока не может быть и речи ввиду отсутствия у меня в отделении вакантных мест...

Капитан жандармов ***

**В Париж,
его преосвященству кардиналу де *****

...что находка названного кюре Беренжера Сонье представляет собой собрание древних свитков, относящихся к эпохе богопроклятых тамплиеров, а также, быть может, к более древней эпохе Меровингов, с содержанием коих свитков отец Сонье пока не знакомил никого из иерархов Церкви...

...если Ваше Преосвященство разделяет мои опасения, касающиеся этих свитков, кои вполне могут содержать в себе сведения, противные принятой Церковью точке зрения...

...со своей стороны, готов в любую минуту призвать к себе отца Беренжера Сонье для ответа и ознакомиться с содержанием его свитков, чего, впрочем, пока не осмеливаюсь сделать, мой покровитель, без Вашей высокой санкции.

...с чем и остаюсь...

Епископ Каркассонский де ***

Каркассон, епископу де ***

...с радостью сообщить Вам, сын мой, что мои хлопоты увенчались успехом, и Вы в ближайшие дни переводитесь из своей каркассонской дыры в Марсель...

...Что касается этого кюре, отца Беренжера, то мой Вам совет – не предпринимайте на сей счет никаких действий и отпустите его с миром в Париж, куда он, не сомневаюсь, уже наводстрился, и посоветуйте там со временем непременно посетить меня.

*В этой связи добавлю, что существуют вещи, коих не стоит касаться даже иерархам Вашего сана, во избежание греха. Вспомните о печальной судьбе епископа де ***, также однажды прикоснувшегося к чему-то подобному, и, главное, вспомните, чем это закончилось для него.*

Следующих Ваших писем жду уже из Марселя.

Мои поздравления!

*Ваш кардинал де ****

Глава

II

Париж

Что есть время? Что мы знаем о нем? И кто мы сами, в нем плывущие, как, не видя самого потока, плывут осенние листья по реке?

Скользя по времени, не ведая своей судьбы, все мы – рабы каждого мгновения, в коем сейчас живы, и каждое из них исполнено для нас не большего смысла, нежели одна дождинка, хлестнувшая по лицу. После, в памяти своей соединив дождинки воедино, быть может, скажем: был дождь. И точно так же, озирая некогда прожитые нами мгновения, быть может, скажем: вела судьба. Однако это – потом, потом. По нашему тщеславию, нам тогда, возможно, покажется, что мы что-то видим.

Самонадеянные слепцы! Мы и видимого, того, что у нас под самым носом, не видим подчас!

Вот, например, Париж... Чем он был для меня, Париж, в первые дни по приезде туда?

Комната близ Монмартра.

Еще несколько слов о новых сапогах господина кюре

Чем же он был для меня, Париж?

Спросите о том же у муравья, ползущего по парижской улице – и не многим вразумительнее будет ответ.

Знаете притчу о трех слепцах, пожелавших наощупь узнать, что такое слон?

“Это – толстая колонна”, – сказал тот, что ощупывал слоновью ногу.

“Да нет, это такая шершавая труба”, – возразил державшийся за хобот.

Ну а третий (он взялся за кончик хвоста) молвил: “Не говорите вздор! Ибо ясно, что слон – это всего лишь маленькая, мягкая кисточка!”

Подобным слепцом был и ваш покорный слуга, попавший в Париж двенадцатилетним сельским мальчуганом.

Мы с отцом Беренжером сняли меблированную комнату за (Бог ты мой!) целых три франка в неделю на четвертом этаже самого обшарпанного из домов, что стояли в нескольких кварталах от Монмартра. Так вот, Париж в те первые дни был для меня:

– грязной, мрачной лестницей, пахнувшей бедностью и луковым супом;

– рыбной лавкой на углу с непостижимыми по меркам нашей Ренн-лё-Шато ценами;

– ажаном на другом углу, всегда взиравшим на меня с подозрением, как на какого-нибудь воришку;

– кучей оборвышей, моих ровесников, отвратительных созданий, обитателей соседних домов, которые, будучи грязнулями, непотребными сквернословыми и всамделишными воришками, тем не менее, из-за моего лангедокского выговора, из-за сшитой моей матушкой куртейки довольно-таки деревенского вида, наконец, из-за тех самых сапог моего преподобного (о которых еще предстоит добавить) считали себя несравнимо выше меня. Они чувствовали себя настоящими, отважными парижскими *говнюками*, безраздельными хозяевами города, поэтому то и дело надо мной подтрунивали, а при случае, когда ажан смотрел в другую сторону, не упускали удовольствия отвесить мне тумака.

Ну, а теперь – о сапогах. Конечно же, весьма основательной частью моего Парижа были новые сапоги господина кюре.

Ох уж эти сапоги! Как я их чистил, как я над ними каждый день колдовал! В точности как наставляла матушка... Но, увы, они же и стали предметом едва ли не главного моего разочарования. Еще когда мы добирались с вокзала к этому дому близ Монмартра, я заметил, что прохожие больно уж насмешливо пялятся на чудо-сапоги отца Беренжера. Поогляделся вокруг – и миг понял: никто здесь, в Париже, не носит подобных сапог. Не знаю как господину кюре, а мне тут же стало ясно, что сапоги эти давным-давно вышли из моды. Ясное дело, Париж – это вам не Ренн-лё-Шато, время здесь не стоит на месте, и за двадцать лет, минувших с тех пор, как их сшил по тогдашней парижской моде наш сапожник Вато, тут, верно уж, кое-что переменялось. Так что мой господин кюре в щегольских этих сапогах выглядел, пожалуй, таким же деревенщиной, как я в своей куртейке матушкиной работы. С какой досадой я теперь смотрел на отца Беренжера, когда он выходил из дома этих начищенных мною же до блеска сапогах! Из предмета гордости они в один миг сделались предметом моего презрения. И чистил я их уже не с благоговением, а со стыдом, даже, пожалуй, с ненавистью. И, ей-Богу, жаль было тех тридцати франков, что он заплатил сапожнику Вато. В тех своих старых, изношенных опорках он здесь, наверняка, привлекал бы к себе меньше насмешливых взглядов, когда вышагивал по парижским улицам.

Но не таков был мой преподобный, чтобы обращать внимание на ротозействующих парижан. Совсем иные, неведомые мне заботы целиком захватили здесь его уже на другой день после нашего прибытия. Он теперь вставал до рассвета, в шесть часов утра, – мне же приходилось аж в пять вскакивать, чтобы согреть ему воду для мытья и бритья, – меня он тоже заставлял ежедневно обливаться водой, причем холодной, ибо на подогрев не хватало угля, – приготовить нехитрый завтрак (благо, сапоги эти чертовы я накануне вечером вычищал), – и уже в семь отправлялся из дому невесть куда, прихватив купленный здесь небольшой баул. А вечером, после сумерок, я с содроганием слышал за окном выкрики уличных оборвышей – что-нибудь вроде: “Кюре прёт!” – “Кюре в сапогах!” – “Господин кот в сапогах, започем такие сапожки-то покупали?!..” Это означало, что мне пора браться за приготовление ужина, состоящего из дешевого сыра и рогаликов с маком, – жарить рыбу и для себя, и для него отец Беренжер запрещал, страшаясь ее смрадного запаха, а ни на что другое отпускаемых им денег не хватало, – и вскоре доставать из моего ящика ваксу, щетки и бархотки для чистки этих черт-бы-их-побрал.

За ужином отец Беренжер обменивался со мной от силы двумя-тремя словами, а то и вовсе словно бы не замечал моего присутствия и целиком бывал захвачен какими-то своими думами. По окончании ужина требовалось спешно убрать со стола, поскольку с сего момента стол был нужен для иных дел, судя по всему, куда более для него важных, нежели поглощение пищи. Ибо теперь на столе расстилались извлеченные из баула свитки – ясно, те самые, найденные нами в церкви Марии Магдалины, господин кюре брал в руки лупу, и уже никакие силы не заставили бы его до глубокой ночи оторваться от главного с этого мига занятия: что-то он там

выглядывал сквозь лупу в свитках, что-то черкал на листке бумаги, что-то беззвучно бормотал. И даже иногда среди ночи, просыпаясь у себя в каморке для прислуги, примыкавшей к комнате отца Беренжера, я видел сквозь щель под дверью, что у него все еще горит газовый свет.

Эти вот унылые вечера и ночи со шелкой света – в те дни это тоже был мой Париж.

Наша с отцом Беренжером утренняя беседа о сущности запахов

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет.

Притчи (22:6):

И снова это унылое утро. И снова обливание ледяной водой, – преподобный отец каждый раз самолично наблюдал, чтобы я со всем тщанием проделывал над собой эту малоприятную процедуру.

Однажды за завтраком, пока отец Беренжер, как обычно, в задумчивости поглощал рогастики с сыром, я решился прервать его далекие отсюда мысли и спросить, зачем нужно сие мучительство. Ведь, как известно (я в какой-то книге читал), даже самые благочестивые монахи иногда принимают обет никогда не мыться, и святости у них от этого не убывает, а даже, говорят, прибавляется.

– Ты не сказал главного, Диди, – оторвался от своих раздумий мой кюре. – Пахнет ли при этом от них чем-нибудь смрадным.

– Уж не знаю, не нюхал, – признался я.

– В том-то и дело, – сказал преподобный. – А вот мне доводилось. И даю тебе слово, что не пахло от них ничем недостойным человека. Ведь что такое запах?

– И – что же? (Попробуй объясни. Уж так отец Беренжер умел так ставить вопросы, что не ответишь, хоть неделю чеши башку).

А он – уже вроде бы о другом:

– Ты когда-нибудь нюхал огурцы, обычные огурцы, растущие на грядке?

Нашел о чем спрашивать! У деревенского парня из Лангедока!

– Ну, и чем они пахнут? – не унимался он.

– Ясно чем – огурцами... (А как еще вы приказали бы ответить?)

– Вот и ошибаешься, – сказал кюре. – Огурцы, растущие на грядке, не пахнут ровным счетом ничем. Ну, разве что немного землей, которая их породила. А вот сорви огурец, да еще его разломи, – и запах тотчас же разольется. Все дело в том, что растущий огурец жив, а сорванный мертв. Живое лишено запаха, а мертвое пахнет мертвечиной. Как бы ни был аппетитен запах сорванного огурца – но это не более чем обозначение его смерти.

– Но ведь мы-то пока что живы, – возразил я, – а пахнет от некоторых – о-го-го! Вот, например, от нашего паромщика Жильберта – в особенности после того, как напьется, да чесночных лепешек нажрется с утра: понюхаешь – заколдобись... Не говоря уже о старике Жордане, когда носки не просушит... Такой запах – в дом к нему не войдешь. А ведь живехоньки пока что оба!

– И что представляют собой все эти запахи? – впервые за время нашего пребывания в Париже увлекся беседой со мной отец Беренжер. – Как раз ее самую, мертвечину! То, что уже отторг от себя созданный Господом живой организм, и что подвластно лишь тлению. Ведь что есть смрад, идущий от пьяницы? Смесь убитого когда-то, перебродившего винограда и омертвевшей от пьянства плоти. А носки твоего Жордана – они само тление и есть. Даже если взять тебя, хоть ты юн и оттого не так смраден, даже на тебе за день скапливается пот, то есть влага, уже отторгнутая жизнью, и омертвевшая кожа, с коей рассталась живая плоть. Отыми от человека все омертвевшее – и он будет лишен всякого смрада, как, должно быть, лишены его ангелы Божии. – В задумчивости он добавил: – Правда, мой мальчик, бывает еще смрад,

идуший от души, от тех грязных помыслов, которые к ней поналипли... Но чтобы от него избавиться, не обойдешься ни водой, ни мылом, ни благовониями. Да уловить его можно не носом, а другою, более чистой душой

После некоторого молчания я спросил:

– А с монахами, о которых я говорил, как быть? Они ничего с себя даже не смывают.

– Ну, что касается святых отшельников, – подумав, сказал отец Беренжер, – то, я думаю, они уже настолько живут одним лишь духом, что и отмирать на них нечему...

И, как должно всякому кюре, не преминул добавить про геенну огненную. В нее, де, попадает лишь грязное, ибо ад – и есть самая грязь, вся, что накопилась в этом грешном мире. В рай не проникнуть ничему, что хоть капельку отдает плотским ли, духовным ли смрадом...

Здоровое в его словах, безусловно, было. Мне оставалось только промолчать. На то он и рукоположенный кюре, чтобы находить во всем земном ниспосланное самим Господом, а также рассуждать об аде и рае.

Во всяком случае, с тех пор я обливался холодной водой по утрам со всем тщанием и уже без всякого понуждения со стороны кюре. И смывал, смывал с себя накопившуюся за день мертвечину. И носки свои каждый вечер стирал вместе с носками господина кюре. Уж не знаю как там моя грешная душа, но тело мое в этом отношении явно все более приходило в порядок.

...Ах, будете и вы смердеть, мой благочестивый кюре, никакое мытье, никакой самый благовонный одеколон вам не поможет. Сначала частями, потом всю свою плоть. Потом – тем, что некогда именовалось плотью. Так будете смердеть, что псы сбегутся, и будут выть, не понимая, откуда нахлынул на Ренн-лѐ-Шато этот смрад.

Но это позже, гораздо позже, много десятилетий спустя. Достаточный срок, чтобы живое и благоухающее успело стать смердящим тленом. Уж не знаю, тело или душа. Я всего лишь Дидье Риве, маленький человек, и не мне рассуждать о подобных материях...

Или там вовсе что-то иное произошло, чему нет столь простых объяснений и о чем речь далее...

Не знаю...

Кому вообще из людей дано знать промысел Божий, особенно если человек этот ничем не примечателен, наподобие меня, да еще с душой, заплутавшейся в столь непостижимо долгом времени?

...Так или иначе, но уже дня через четыре своего пребывания тут, близ Монмартра, я заскучал по дому, по нашей сонной Ренн-лѐ-Шато. Мое служение отцу Беренжеру здесь, в Париже, было совсем не тяжелое, но, если не считать того, в сущности единственного разговора на тему о запахах, какое-то больно уж тоскливое, и главное – я не видел никакого движения, никакого конца этой проклятой тоске.

Кто бы знал, что все это окончится так скоро, что совсем другая жизнь, совсем другой Париж – они совсем уже рядышком, ближе, чем кусочек времени от смерти до рождения (или – уж не знаю – может, наоборот: от рождения до смерти?) на моем теперешнем замыкании круга.

Да в сущности, все произошло в один миг!

История одной затрешины

...Нет, не в тот миг, когда у нашего задрипанного дома остановилась (слышанное ли дело!) карета с золотым баронским гербом, ливрейный лакей отворил дверцу, и в вонючий наш подъезд вошел самый что ни есть барон. О том миге тут же прознали все окрестности, и еще долго, наверно, будут о нем помнить и судачить, – но то случилось после, после. Во всяком случае, к чему-либо в таком роде я был уже готов. Ибо прежде был другой миг, замеченный немногими.

Для меня этот миг отметился в памяти одним словом, и это слово было (прости, Господи!) “соп”⁷.

А было так. Они, эти *говнюки*, налетели всей оравой, прижали меня к стене, когда я вышел с покупками из сырной лавки, – и – как обычно:

– Ах, какая курточка! Ты посмотри, какая курточка у нашего франта Диди!

– Диди, у вас в деревне, никак, все ходят в таких шикарных курточках? Что ж это у вас за деревня такая? Небось, в Провансе или еще подальше? Там все, небось, такие расфуфыренные ходят? (Все это мерзкими, гнусавыми, как у клошаров с набережной, голосами, сопровождая слова незаметными для прохожих тычками мне в бок.)

– И, небось, денег за нее отвалил – о-го-го! Ты, клянусь, богач, Диди. В такой-то куртейке! Поделится бы ты, правда, с нами, бедными.

А уж пахло, пахло от них!.. Где там умещалось столько омертвелой плоти – на грязных руках или под пропотевшими рубашками, или в смердливых ртах, или уже в самих душах – иди знай...

– Во-во, богач-Диди, давай-ка, поделись! – встрял Жанно по кличке Турок, сын шлюхи Мадлен, самый отвратительный из них. Ему было уже лет пятнадцать, оттого кулаки у него куда увесистее, чем у других. Кроме того, говорят, он водился с самым настоящим взрослым ворьем, и что с ножом никогда не расставался – это все тут знали. – Неужели тебе нас не жаль, Диди? Быть слишком богатым грешно, так тебе и твой кюре скажет, – гнусавил он мерзостнее остальных. – Поделись – оно будет лучше.

Эти издевательства были куда больней, чем даже их тычки кулаками в бок. Чтобы избавиться от позора, я так обычно и поступал – отдавал им пять су из тех десяти, что исправно, как и было обещано, каждый день выплачивал мне отец Беренжер. Однако еще утром того дня я как раз купил три конверта с почтовыми марками, чтобы отправлять матушке, как она просила, письма в Ренн-лё-Шато, и теперь не имел ничего, чтобы откупиться от негодаев. Оставалось только молчать, опустив от стыда к земле глаза, стиснув зубы, и молить Господа, чтобы Турок-Жанно не пустил в ход свой нож. Только на Господа Бога, да еще на Спиритус Мунди в кармане – на них только вся надежда.

– Э, да ты, я смотрю, жадина, Диди, – продолжал он гнусавить. – Нехорошо быть жадиной такому богачу. Небось, у твоего кюре тысячи в кармане?

– Еще бы! В таких сапожищах, как гусак, выхаживает! – подхихикнул самый мелкий из них, бесенок Вико. – Весь Париж любитесь!

– Ага, точь-в-точь гусак!

– А Диди у него – заместо гусыни!

– Ну признайся, Диди, по сколько твой гусь-кюре тебе за это дело отваливает? Небось, побольше, чем за свои сапоги отвалил? Поди, по сотне в день? А ты для нас бедных какие-то пять су жалеешь!

– Что для тебя какие-то жалкие пять су, Диди? Тебе за них своему преподобному гусаку только разок, небось, подморгнуть! – Это все не унимается бесенок Вико. Запасы его гнусностей неистощимы, я, по-прежнему, потупившись, жду, когда он проблеет еще одну какую-нибудь, но вместо этого он вдруг верещит во весь голос: – Ой-ой-ой!.. – и его остренький кулачок отлипает от моего ребра.

Я поднимаю глаза. Позади Вико возвышается отец Беренжер, – почему-то необычно рано он в тот день возвратился, – и крепко держит за ухо маленького мерзавца. Ухо у того вмиг стало красным, как мясо.

⁷ Французское ругательство, нечто вроде “мудак”

– А ну, что здесь происходит? – не отпуская его, строго спрашивает господин кюре. Все за то же увеличившееся вдвое ухо он отшвыривает бесенка в сторону и обращается ко мне: – Что им надо от тебя, Диди?

Молчу. Даже не в том дело, что ябедничать не охота. Молчу скорее от страха – теперь уже не за себя, а за моего преподобного. Ибо вижу, что Турок весь напряжился, опустил правую руку в карман, и глаза у него сузились в злобные щелки, как у кота перед прыжком. А Турок – это вам не Вико, от него можно ждать чего угодно. Что ему какой-то сельский кюре в смехотворных сапогах, ему, уж я-то знаю, и жандарм, что на том углу, не указ, одно слово отпетый. С бандитским прищуром глядя на кюре, цедит сквозь зубы:

– Господин гусак в сапогах, никак, решил заступиться за свою гусынюку?

– Что?.. – опешил преподобный от его наглости.

– Да так, ничего, – повеселев, отвечает ему Турок. – Только интересуюсь, господин гусак, започем сапожки себе покупали?

И вот тут-то...

Ей-Богу, немало я хороших оплеух в жизни видывал – но чтоб такую!.. Ручка-то у отца Беренжера, даром что кюре, – любой гренадер позавидует. Треск раздался на всю улицу, будто двуколка переехала пустой ящик. От этой затрещины Турок-Жанно головой мотнул так, что едва стену ею не прошиб, и после этого стоял, хлопая глазами, явно плохо еще соображая, что произошло и откуда этот треск.

Вслед за тем на миг воцарилась гробовая тишина. Замерли мои мучители-говнюки, приостановились прохожие, кухарки повысовывались в окна, остолбенел ажан на другом углу улицы, выглянула из дверей хозяйка рыбной лавки. Все глазели в нашу сторону.

Однако господин кюре одной оплеухой не ограничился. Отец Беренжер взял обмякшего Турка за шиворот, повернул к себе спиной и с такой силой пнул его в зад своим известным всей улице сапогом, что того оторвало от земли, он враскарячку пролетел по воздуху и шагах в десяти шмякнулся, как лягушка, на булыжную мостовую. Шлепок от его падения был единственным звуком, который едва-едва нарушил повисшую над кварталом тишину. И вот в этой самой тишине еще отчетливее, чем давешняя затрещина прозвучало на всю улицу брошенное моим преподобным в сторону распластавшегося на булыжнике мерзавца:

– **Con!**

Тут лишь улица наконец пришла в оживление. Довольный, крикнул в кулак жандарм. Присвистнул кто-то из прохожих, радостно загоготали остальные. Перекрестилась одна из кухарок в окне. “Браво!” – аж захлопала в ладоши хозяйка рыбной лавки. Даже эти негодяи, мои мучители, на время позабыв о позоре своего вожака, дружно прыснули. И не то чтобы кого-нибудь удивило само словцо – уж наверно, здешнюю публику эдаким не проймешь, – но услышать такое не от какого-нибудь загулявшего драгуна, не от бродяги, не от уличной торговли, а от настоящего рукоположенного кюре, с четками на поясе и в сутане – вот это, надо полагать, было по-настоящему вновость всем тут.

Я же взглянул на отца Беренжера и по его лицу вдруг ясно для себя понял: что-то очень важное с нашим господином кюре произошло – нечто такое, после чего он имеет право на многое, недозволенное другим, подобным ему. И еще одно понял тогда: в нашей с ним жизни грянут какие-то существенные перемены – не зря же Спиритус Мунди в тот миг укололо льдинкой сквозь карман.

В тот же день мой преподобный дал мне целых сорок франков, – насколько я знал, едва ли не все, что у него осталось, – велел пойти в дорогой магазин, что через две улицы, и, не считаясь с ценой, не торгуясь, купить там для него самые лучшие сапоги, такие, в каких нынче ходят богатые парижане. Поэтому, когда вечером к дому подъехала карета с баронским гербом, при всеобщем удивлении нашей улицы, я был удивлен, пожалуй, менее всех.

Замухрышка-барон и загадочные свитки отца Беренжера

Барона, этого неказистого, кстати, коротышку, звали де Сютен – так, во всяком случае, значилось под золоченым гербом на его карете. На мою долю выпало провожать его на четвертый этаж по нашей вонючей лестнице. Барон поднимался, зажав нос батистовым платком и всем напудренным лицом своим выказывая отвращение. Однако стоило мне ввести его в наше скромное обиталище и закрыть за ним выходившую на лестницу дверь, как я сквозь ублажавший его дорогой одеколон ощутил, что от барона изрядно пованивает не самой дорогой харчевней, сапожной ваксой, винными парами – всей этой мертвечиной, которую не забить и лучшими из существующих в мире духов, из чего я сделал для себя вывод (уж не знаю, насколько ошибочный), что барон, несмотря на свой батистовый платок, на свою карету и золоченый герб – довольно-таки захудалый.

Куда там мой преподобный, вышедший к нему навстречу! Высокий и стройный, в новых, уже самых что ни есть парижских сапогах, в тщательно отглаженной мною накануне новенькой, прежде не надеванной сутане, рядом с этим недомерком-бароном он выглядел, пожалуй, даже величественно. И пахло от него, помимо одеколona, только свежестью и чистотой. А держался он с ним даже не как с равным, а словно кардинал, принимающий малозначимого просителя (если б кто на нашей улице видел!)

– А, это вы, мой друг, – даже не поклонившись, обратился он к барону с таким видом, что всякому сразу же было бы ясно – никаким “другом” тут и не веет. Так же, как и радостью, хотя он все-таки прибавил: – Рад, что вы наконец сподобились нанести визит.

Зато барон раскланялся и заблеял на изысканный парижский манер:

– О, даже почел своим долгом! При тех рекомендациях, которые вы получили от... Да вы, впрочем, сами знаете, от кого... И при тех сокровищах, которые, насколько я знаю... (О чем он? Все-то наши “сокровища” – старенький тубус, непонятно с чем, да шестнадцать франков и сорок су, что, как я знаю, у господина кюре на все про все оставалось в кошельке!) И при той вашей учености, о коей немало наслышан!..

Однако, мой преподобный отрубил это затянувшееся блеянье:

– Прошу...

С этими словами отец Беренжер пропустил барона в комнату и закрыл за собой дверь, достаточно, впрочем, тонкую, так что, если вплотную приложить к ней ухо (да простит меня Господь за этот грех!) и быть внимательным, довольно много можно услышать.

Что-то продолжал блеять барон – на что-то эдакое ему необходимо было взглянуть...

– ...ибо, при всем доверии к вам, кое не может подлежать ни малейшему сомнению, все-таки должна быть определенная уверенность, поскольку лица (о, не будем их называть!), пославшие меня, должны знать наверняка...

– Деньги, что я просил, вы, надеюсь, принесли? – сухо перебил его кюре.

И снова блеянье, из которого можно было еще раз понять, что барон прежде хочет удостовериться.

– Я держу при себе лишь списки, мною самостоятельно выполненные, – сказал отец Беренжер.

– О! А подлинники вы кому-то доверили?!.. Неужто вы не понимаете, сколь это...

– Подлинники хранятся в сейфе банка у Ротшильда, – так же сухо ответил мой кюре. – Надеюсь, в надежности этого банка вы не сомневаетесь?

– Нисколько, нисколько... – сказал барон – по-моему, чуть разочарованно. – Хотя лицо, которое меня послало с этой миссией, более интересовали бы подлинники.

– Тем не менее, вам придется покамест довольствоваться... И вам, и ему... Кстати, вы как-то запамятовали о моем вопросе насчет денег...

Барон, однако, блеял о своем (некоторые слова не долетали до моего слуха):

– М-да... Но подлинники, однако... Вы, надеюсь, понимаете, что – совершенно разное отношение... и если бы оное лицо получило подлинники хотя бы на один день... С возвратом, разумеется, с возвратом!..

Зато отец Беренжер говорил отчетливо, я хорошо слышал каждое его слово.

– Об упомянутом вами лице, – сказал он, – я успел навести кое-какие справки. Например, знаю, что как-то к нему – тоже, кстати, всего на один день – попал подлинный, времен раннего христианства, список некоего апокрифического Апокалипсиса, который на следующий день, согласно договоренности, и был возвращен. Он и по сей день хранится в библиотеке собора Святого Петра. Только вот беда – установлено, что пергамент произведен всего лет десять назад, вероятно, из шкуры какой-нибудь несчастной нормандской коровёнки (кажется, в Нормандии поместье вашего лица?), а чернила, хоть и изготовлены по старинным рецептам, но изготовлены никак не позднее Франко-Прусской войны.

– Вы что же, господин кюре, намекаете?.. (Я даже представил себе, в какую позу коровёнка при этом встал и как смехотворно он в этой позе выглядел рядом с высоким, прямым отцом Беренжером.) Неужели какие-то сплетни... какие-то домыслы... какие-то глупые случайности?..

– В мыслях не имел на что-нибудь намекать, – спокойно отозвался отец Беренжер. – Но, дабы подобных “глупых случайностей” не произошло и с тем, о чем у нас идет речь, вам, повторяю, придется ограничиться лишь списками. Надеюсь, вы понимаете, что в этом случае лишь подлинники могут говорить об истинном...

– Да, да, о вашем истинном происхождении!.. – слабо скрывая недовольство, все-таки поддержал его барон. – Что ж, списки так списки... Но... в этой связи я имею... (Он перешел на шепот, однако этот шепот просачивался через дверь лучше, чем его давешнее бляенье.) В этой связи я имею поручение еще от одной персоны... Кстати, имеющей весьма высокий духовный сан...

– От архиепископа де...

– О, без имен, прошу вас, без имен! – вскричал гость. – Тем более, что вы и сами догадываетесь. А поручение столь деликатно... И, кстати, тоже подкреплено чеком на весьма, весьма изрядную сумму...

– Слушаю вас, – сказал отец Беренжер холодно.

– Сею персоной велено спросить: кому еще, кроме вас, известно содержание свитков?.. Видите ли, – добавил он доверительным тоном, – из самого Ватикана, лично от Его Святейшества пришло распоряжение: вплоть до установления достоверной подлинности...

– Да, понимаю, – все так же спокойно сказал отец Беренжер, а у меня даже сердце зашлось: неужто само Его Святейшество наслышано о нашем деревенском кюре?! – И можете передать вашей “персоне”, – продолжал мой преподобный, – что никому, кроме меня, содержание документов пока не известно. Копии снимал я сам у себя в Ренн-лё-Шато, никто посторонний при сем не присутствовал, расшифровку производил тоже сам... что, кстати, было весьма нелегко, но исполнено, – не считите за самовосхваление, – с точностью, которая, надеюсь, не вызовет сомнений ни у кого...

– В чем ни на миг не сомневаюсь, – поторопился вставить барон, – при учете вашей всеобщей известной учености... Однако, господин кюре, не настало ли время взглянуть на эти самые списки и на их расшифровку?

– Извольте, – услышал я голос отца Беренжера, и затем зашуршали свитки, которые он, по всей видимости, стал раскатывать на столе.

На некоторое время растянулось молчание, затем барон проговорил:

– Но ведь это же... это же полнейшая абракадабра! Набор ничего не значащих буквочек.

– Заблуждаетесь, милейший, – покровительственно сказал отец Беренжер. – То, что вы видите – особый шифр, он изредка использовался членами королевского дома Меровингов в

века, кои у нас почему-то принято именовать “темными”, хотя добавлю между прочим, что на самом деле такими уж темными, в отличие от пяти-шести последующих они как раз-то и не были. Во всяком случае, выгодно отличаясь от пришедших им на смену Каролингов, совершенно неграмотных мужланов, благочестивые Меровинги не только умели читать и писать, но и были для своего времени вообще весьма образованны... Впрочем, то, что мы с вами сейчас видим, очевидно, написано гораздо позднее, веке, должно быть, в тринадцатом, на закате ордена Тамплиеров, ибо писано не на латыни и не на древнефранкском, а на французском. Они, бедняги тамплиеры, иногда использовали тот же шифр, перенятый ими из меровингской эпохи...

Услышав, как мой преподобный называет богопроклятых “беднягами”, я на всякий случай (мало ли что) по-быстрому перекрестился, а отец Беренжер тем временем невозмутимо продолжал:

– Но мы с вами, господин барон, отвлеклись. А суть шифра такова... – По мере объяснения господин кюре начал оживать. – Сначала писали основной текст, отставляя буквы одну от другой на произвольное, но весьма значительное расстояние. Затем же промежутки заполнялись любыми другими буквами, какие на ум взбредут. В результате основной текст оказывался спрятан, как несколько листочков в густом и обширном лесу, и представлялся несведущему абсолютной бессмыслицей.

– Да, хитро, – согласился барон. – Но каким же образом, в таком случае?..

– Как это возможно прочесть, вас интересует? – подхватил отец Беренжер. – Я тоже далеко не сразу сообразил. Пытался применить и каббалистическую нумерологию, кою изучал (и в которой, добавлю, Меровинги по определенным причинам смыслили кое-что), и пифагорейский ряд, и вавилонскую шестидесятеричную систему, – ровным счетом ничего не выходило. Но ведь кто-то же в те времена должен был суметь все это прочесть, иначе, согласитесь, и писать бы не имело никакого смысла! Причем все должно было быть достаточно просто... И тут, когда я стал внимательнее приглядываться к свитку, меня вдруг осенило! Вот вам лупа, взгляните. Вам не кажется ли, господин барон, что некоторые буквы едва заметно выше других?

Добрый король Дагоберт,

или о том, какие мы богачи и как бароны могут скатываться по лестнице

– Да, да, пожалуй... – проговорил барон.

– Какая первая из таких букв?

– Вроде вот эта. Буква “А”...

– Совершенно верно. Давайте-ка подчеркнем ее карандашиком... А за ней следует...

– Буква “D”...

– Великолепно! А далее?

Так барон, подбадриваемый господином кюре, сумел назвать дюжины три букв.

– А теперь, – сказал отец Беренжер, – при учете того, что все это написано по-старофранцузски, попробуйте восстановить всю фразу целиком.

И так уж медленно, по слогам барон читал, и так уж я там, за дверью, напряг свой слух, что вобрал в себя всю эту фразу целиком. С тех пор так она и осталась частью меня. Смысл ее я узнал гораздо позднее, а в ту пору она стала для меня просто отголоском некоей тайны, неким осколком чуда, наподобие стекленции этой в моем кармане, Спиритус Мунди, без подмоги которой, может и здесь тоже не обошлось.

– A DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA MORT⁸... – в конце концов выжал фразу целиком барон. – Это, позвольте, что же за Дагоберт Второй?

– Тот самый, – сказал отец Беренжер, – Добрый Король Дагоберт из династии Меровингов. Жил, помнится, в седьмом веке, много страдал, но не в том суть...

– А тогда – в чем?

– Да лишь в том, что документ, без сомнения, подлинный! – впервые за время их разговора воскликнул отец Беренжер. – Ибо и те сокровища, о которых здесь говорится – они тоже оказались там! Помните? "...и там оно погребено"! Мне удалось найти всё!

– И что же это за сокровища... какова им цена?.. – спросил барон чуть дрогнувшим голосом.

– О, они бесценны! – сказал господин кюре. – Только не в том смысле, в каком это, вероятно, представляется вам. Тоже всего лишь свитки, но цены этим свиткам, повторяю, нет!

– Но пока мы прочли всего одну фразу.

– Да, по одной фразе на свиток, так уж, не жалея пергаментов, они писали. Я и показал-то вам ее всего лишь для примера – чтобы вы могли убедиться в наличии у меня этих документов, ведь лишь об этом, насколько я понимаю, просило вас то известное лицо.

– А что же на остальных?

– Простите, господин барон, – довольно прохладно отозвался отец Беренжер, – но, как мы оба помним, по распоряжению самого Его Святейшества...

– Да, да, господин кюре, – пробормотал барон, – извините мне мое невольное и излишнее любопытство.

– Добавлю только, – продолжал мой преподобный, – что сей тайник в древнем храме Марии Магдалины просуществовал много веков, туда клали свои бумаги и катары, и тамплиеры. Кстати, и тем, и другим была известна великая тайна Меровингов. Имеются там также и генеалогические древа, по которым с уверенностью можно судить... – Он примолк, и я услышал, как щелкнула крышка его часов. – Однако, – сказал он, – мы с вами явно заболтались, господин барон, время, я смотрю, уже позднее. Посему вернемся все же к началу нашего разговора. Я имею в виду банковские чеки, которые вы должны были мне передать и от вашего "известного лица", и... раз уж вы так боитесь имен – от "духовной персоны".

– Да, да! – согласился барон и, видимо, стал рыться в карманах. Делал он это довольно долго. Наконец сказал: – Вот... От "лица"...

– Ого! – усмехнулся отец Беренжер. – Целых пятьсот франков!

Я чуть не присел. Пятьсот франков! Да мы ж теперь настоящие богачи!

Мой преподобный был, однако, иного мнения.

– Не так, я смотрю, щедро это ваше "лицо", как о нем говорят в Париже.

– Только аванс! – воскликнул барон. – Клянусь вам – только аванс! Когда в его газете появятся сведения о вашей находке... Уверяю вас... он готов удвоить... Нет! утроить!..

Моих знаний в арифметике хватило, чтобы перемножить пятьсот на три, но такое количество франков было уже за пределами моего деревенского разума.

– Если же, – немного помявшись, добавил барон, – вы решитесь продать хоть один подлинный свиток... сами же говорите – их там множество... – Но кюре перебил его:

– Об этом не может быть и речи...

– В таком случае...

Я было отпрянул от двери, полагая, что барон вознамерился уходить, но преподобный продолжил за него:

– ...В таком случае (поскольку с вашим "лицом" мы, кажется, с Божьей помощью разобрались), не угодно ли вам передать чек также и от "духовной персоны"?

⁸ Это сокровище принадлежит королю Дагоберту Второму и Сиону, и там оно погребено. (Старофранц.)

– Ах, да... – пробормотал барон. – моя всегдашняя забывчивость... – И после не менее долгого обшаривания карманов сказал: – Наконец-то! Вот он.

– Это уже кое-что, – проговорил отец Беренжер.

Если пятьсот и даже полторы тысячи (о, Господи!) франков – для моего преподобного почти вовсе ничто, то сколько же будет “кое-что”?! Тут моих лангедокских мозгов просто не хватало!

– За сим разрешите... – начал было барон.

И снова я шарахнулся от двери, и снова, как оказалось, преждевременно, ибо преподобный сказал насмешливо:

– Ах, господин барон, господин барон! Ваша забывчивость, я смотрю, переходит всякие границы. По-моему, вы не так стары, чтобы память настолько размягчилась.

– Что вы себе позволяете, господин кюре?! – вскричал барон, исполненный самого искреннего гнева, что меня, право не больно-то испугало: барон был замухрышкой, а сколько весит священническая рука моего преподобного с недавних пор уже вся улица знала.

– Барон, – так же насмешливо отозвался отец Беренжер, – я позволяю себе не более того, что вправе позволить себе человек, которого самым бессовестным образом и уже не в первый раз пытаются надуть.

– Да как вы!.. – еще разок встрепенулся было барон, но тут же примолк, услышав спокойный голос кюре:

– Что ж, опять будем считать – забывчивость... Видите ли, милейший, не далее как вчера я имел обстоятельный разговор с архиепископом де... Ладно, ладно, с “духовной персоной”. И “персона” сия обещала передать мне через вас два анонимных чека – один для оплаты в банке Ротшильда, другой – в банке Дюпона. Дюпоновский чек, хоть и пробившись через вашу забывчивость, я все-таки держу в руках. А вот ротшильдовского, причем, как мне известно, более значительного по сумме, пока что так и не наблюдаю.

Мамочки! “Более значительного”, – он сказал. Более значительного! Узнать бы еще – насколько более! Да и без этого “более” он уже запросто мог бы купить всю нашу Ренн-лэ-Шато, еще, небось, и с доброй половиной Каркассона в придачу.

– О, Боже! – вскричал барон. – Да разумеется! Вот же он! Ну конечно же: банк Ротшильда! Уже и в руках держу, а передать забыл! Ну разумеется, он ваш! Извольте! И простите, Бога ради! В конце концов, надеюсь, не подумали же вы, господин кюре, что я какой-нибудь...

– ...прощелыга, – закончил за него кюре.

– Как?! – взметнулся было барон. – Как вы изволили выразиться?!

– Прощелыга, – твердо сказал отец Беренжер.

В следующий миг дверь, саданув меня по лбу, распахнулось с такой стремительностью, что меня отшвырнуло в самый дальний конец коридора. С такой же стремительностью, словно получив хорошего пинка под зад (а то и вправду получив-таки, с моего преподобного станется) почти в тот же миг коротышка-барон вылетел из комнаты, с трудом впотьмах нащупал следующую дверь и, чертыхаясь, поскальзываясь на ступеньках, покатился вниз по лестнице.

– Эй, Диди, где ты там? – высунул голову из комнаты отец Беренжер.

Чтобы он не заподозрил меня в подслушивании, я затих в темном углу и не отзывался, делал вид, что заснул там на сундуке. После удара дверью на лбу взбухла здоровенная шишка – в карман-то, небось, не спрячешь, иди объясняй, откуда она взялась. Голова звенела. И в звенящей голове как-то сами собой вышептывались подслушанные загадочные слова: “ЭТО СОКРОВИЩЕ ПРИНАДЛЕЖИТ КОРОЛЮ ДАГОБЕРТУ ВТОРОМУ И СИОНУ, И ТАМ ОНО ПОГРЕБЕНО...”

И еще я пытался сосчитать деньжищи, которые только что неожиданно-негаданно достались нашему нищему кюре. Но цифры были такие огромные, со столькими нулями, что с подсчетом у меня так ничего и не вышло. Так и уснул на сундуке, оставаясь в неведении насчет того, какие

мы с ним теперь богачи и кому в действительности принадлежит все это богатство – нашему деревенскому кюре или королю Дагоберту Второму вместе с неким Сионом.

...Утром, во время завтрака, отец Беренжер, разумеется, сразу же заметил шишку у меня на лбу, но спрашивать насчет ее происхождения не стал. А когда я после завтрака мыл посуду, он сказал мне:

– Давай-ка, Диди, поторапливайся. Потом будешь укладывать вещи. Нынче съезжаем.

– Куда? – спросил я, в сердцах надеясь, что теперь, став богачом, отец Беренжер вернется в нашу Ренн-лё-Шато, по которой я уже здорово соскучился.

Но он пожал плечами:

– Не знаю, пока не решил. Может, в “Риц”, может, в “Гранд-отель”, там разберемся... Впрочем, – добавил он, – погоди, не особенно торопись, прежде я должен выйти взять кое-какие деньги в банке, а ты потом сбегашь купишь для нас новый чемодан. Да только смотри, не здесь, а в магазине на площади, в том, что через два квартала (мать честная! где цены выше потолка!) И не скупись, а то я уж знаю вас, прижимистых деревенщин. Главное – чтобы был лучше. Самый лучший, какой там есть!

Кое-что о прелестях и странностях богатой жизни

По дороге из банка отец Беренжер купил для меня обнову. Башмаки-то – ладно. Ничего себе башмаки, крепкие, блестящие, не чета моим прежним. А вот одежонка... Точь-в-точь такая, какую носят ученики церковных школ. Тут, близ Монмартра, в такой пройдишь – немедля подзатыльник от любого схватишь. Не жалуют здесь этих святош.

Преподобный, однако, доходчиво объяснил мне свой выбор. В той моей провансальской куртейке матушкиного шитья заявляться в хорошую гостиницу никак нельзя, на порог не пустят (ну, это-то ясно). Конечно, он мог бы в благодарность за все тяготы минувшей недели нарядить меня эдаким парижским франтом и отправить первым классом к матушке в Ренн-лё-Шато, тем паче, что в хороших отелях постояльцу положен мальчик-слуга. Но вот мальчика-то слугу он бы для себя как раз не желал – дело, по которому он прибыл в Париж, настолько тонкое, что не терпит лишних глаз и лишних ушей. Живущий же в хорошем номере постоялец без такого слуги, даже если этот постоялец кюре, наверняка, вызовет удивление. А держать при себе ученика-семинариста, который тебе прислуживает – это в порядке вещей... Да и хотелось бы ему, чтобы я увидел наконец настоящий Париж, а не эту смрадную клоаку. И ко всему удобово содержанию он мне будет отныне выдавать в день аж по франку.

Ничего себе! Целое состояние!... Ладно, коли так, то черт (прости, Господи!) с ней, с одежонкой.

За покупкой чемодана я, впрочем, отправился в своей старой куртейке – все-таки мы пока еще с этой улицы не съехали. Карман жгли сто франков, которые преподобный мне дал... Тут, как назло, – Турок из подворотни... Но – руки в карманы – и прошел мимо меня, словно не заметил вовсе, что дало мне повод подумать о пользе хорошей затрешины...

Чемодан этот, купленный мною (удавиться, и только!) за восемьдесят франков, до “Гранд-отеля” мне даже нести не пришлось: у подъезда нас уже ждала заказанная отцом Беренжером карета, еще и получше баронской, разве только без золоченого герба. Пока ехали в ней по становившемуся все нарядней и богаче на нашем пути Парижу, я даже о наряде своем дурачком забыл, все думал себе: зачем нужен такой дорожный чемодан, если его и не видит никто?

Однако уже в вестибюле шикарной гостиницы понял, что трата была не напрасной. Все здесь так прямо и сочилось богатством – повсюду сверкала начищенная до блеска бронза, с потолка свешивались люстры из хрусталя, пальмы росли в мраморных кадках, а усатые швейцары в нарядных мундирах больше походили на генералов. Каковы, интересно, мы были бы здесь с тем деревянным чемоданищем?

И запах! Какой здесь царил запах! Это вам не дом возле Монмартра! Так могла пахнуть только настоящая жизнь, предназначенная для настоящих людей, для тех, кто здесь по праву жил, для того же отца Беренжера, в конце концов, а уж конечно не для мурашей, наподобие меня, ползком пробравшихся сюда по недосмотру швейцаров.

...Даже знать боязно, сколько мой преподобный отвалил за этот гостиничный номер. Назывался он “апартаменты”. Но номер был!.. Что за номер!.. В целых четыре комнаты (зачем на двоих-то столько?), с двумя ватерклозетами (тоже не многовато ль?), с такими же, как в вестибюле, хрустальными люстрами, с полированной мебелью, с такими коврами на полах, что хоть прямо на них и спи!

А вот про такое диво, расскажи я о нем кому-нибудь у нас в Ренн-лѐ-Шато, никто, наверняка, не поверил бы. Комната эдакая, вся в зеркалах, пол покрыт кафелем, тоже как зеркало, а у стены стоит... эдакое, белое, сверкающее... Навроде большущего корыта, но только целиком выдолбленное из мрамора. При корыте – два крана, а на каждом – по крантелю, один крантель синий, другой красный.

Отец Беренжер объяснил, что это – ванная комната, а корыто мраморное – ванна для мытья. Синий крантель повернешь – идет холодная вода. А вот повернешь красный – горячая, самый что ни есть кипяток. Вот во что у нас бы в Ренн-лѐ-Шато ни в жизнь не поверили: откуда ж кипяток, если ни уголька нигде, никто эту воду не греет? Не сама же она собой кипятком-то делается!..

На сей счет отец Беренжер все-таки снизошел до объяснений. Оказывается, воду для этого крана непрестанно греют где-то внизу, в подвале гостиницы. Так и держат, всегда горячую – мало ли когда кому-то из постояльцев взбредет на ум повернуть красный крантель. Угля-то для подогрева тут, как видно, не жалеют. Выходило так, что и воду по утрам для бритья и мытья моему преподобному я теперь согревать не должен. Даже сам могу, как он, хоть каждый день плескаться в горячей воде, а не студиться в ледяной, как там, близ Монмартра. Чудеса!..

И еще одна новость. Лишь только я стал раздумывать, как нам быть с обедом, в какую лавку мне бежать за трапезой, как отец Беренжер нажал на какую-то кнопочку в гостиной – и нате вам! – в следующий миг на пороге появился ливрейный лакей: что, де, изволите?

Преподобный наговорил ему кучу в основном неизвестных мне слов, лишь по некоторым я сумел догадаться, что речь идет о съестном – и уже через каких-нибудь четверть часа тот же ливрейный вкатил все это к нам на специальной колясочке и, прежде разложив серебряные приборы, аккуратно расставил яства на столе.

Боже! чего тут только не было!.. Вот только названий этих мудреных я так и не вспомнил никогда, разве что раковый суп. И то потом, когда рассказал у нас в Ренн-лѐ-Шато, на меня указывали пальцем. Я был единственным в нашей деревне, кто когда-либо ел раковый суп. Ах, если бы не был столь беден мой язык и так скудна моя память, и я мог бы назвать им остальные, просто королевские яства, которые мы с преподобным тогда отведали!..

Последняя новость повергла меня в полное недоумение. Оказывается, теперь я даже не должен чистить сапоги господина кюре, так что могу спрятать подальше матушкины бархотки. Мало того, даже свои собственные ботинки чистить совсем не обязан. Потому что здесь, оказывается, так: вечером вся обувь, какая есть у постояльцев, хоть башмаки какого-нибудь заезжего герцога, а хоть даже и мои, все выставляется в коридор, а завтра утром забирайте, пожалуйста, обратно, только уже начищенные, сверкающие.

Господи, да зачем же я ему тогда вовсе нужен, господину кюре? Отправлял бы тогда, в самом деле, меня, дармоеда эдакого, восвояси!.. Нет, он, право, наш преподобный, не от мира сего!..

Впрочем, после обеда отец Беренжер сказал, что дня через два-три мы оба с ним возвращаемся в Ренн-лѐ-Шато. Покуда же, добавил он, протягивая мне обещанный франк, я до

вечера могу быть свободен, а стало быть, могу выйти прогуляться и заодно посмотреть Париж. Настоящий Париж – тот, что нас теперь окружает.

...И – Боже! – что это был за Париж! Когда тебе не надо выходить из смрадного подъезда и бежать по такой же вонючей улице в сырную лавку, когда не надо мышью проشمывать мимо Турка с его компанией, когда в животе у тебя только что съеденный раковый суп и – кто бы подсказал, что еще такое!.. Когда при этом у тебя в кармане целый франк, который трать как душа пожелает, ибо он твой...

Тот самый Париж из моих деревенских снов, Париж, сотканный, как из кружев, из всякой всячины, невиданной досель, Париж, разбрызгивающий витринами солнечный свет, Париж, полный мороженого с непередаваемым вкусом, которое здесь продают, действительно, на каждом углу, Париж с его улицами, широкими, как реки, и так же, как реки, несущими тебя своим неутрачивающим движением...

Париж – это был...

В общем, что там говорить! Париж – это и в самом деле был Париж!..

.....

Я уж было полагал, что такая праздная жизнь продлится все те два-три дня, что мы с господином кюре пробудем тут, в Париже, но, оказалось, я ошибался. Отец Беренжер преподнес мне новый сюрприз. Да какой!

Вечером, когда я из полыхающего тысячами огней Парижа вернулся наконец в гостиницу и поднялся в наши апартаменты, преподобный сидел в дальней комнате, называемой кабинетом, разложив на покрытом зеленым сукном столе свои свитки и в первые минуты меня не замечал, настолько был на них сосредоточен. Потом, однако, оторвался, спросил, как мне понравился Париж (о! что я мог ответить?!), и, не дожидаясь, пока я наскребу в уме нужные слова (которые вряд ли бы и наскреб), сказал:

– Ладно, иди ложись спать. Твоя комната – там... Только не залеживайся, нам рано вставать. – И добавил, как о чем-то совершенно своеобразном: – Завтра с утра мы должны посетить кардинала.

Не какого-нибудь парижского аббата (хотя и нашего-то, лангедокского аббата Анри Будэ я только по большим церковным праздникам видывал). Не епископа, не архиепископа даже (коих вообще не видывал никогда).

О Боже! Нет! К кардиналу! К самому кардиналу, не больше, не меньше!

И как запросто он об этом сказал!

В тот миг я, кажется, едва ли не всерьез подумал: уж, право, не божество ли он какое, спустившееся с небес на грешную землю, невесть какими ветрами занесенное в неведомую, наверно, там, на небесах, Ренн-лэ-Шато, наш преподобный Беренжер Сонье?

...Слова, слова... Мысленные или произнесенные вслух... Когда тебе без малого сто, они суть одно, ибо никакой звук, никакое дрожание воздуха все равно не пробьется через такую малообразимую толщу лет. И вот теперь, в моем бесцельном блуждании по временам, мне порою кажется, что в действительности было так: стол с зеленым сукном, разложенные на нем свитки, в кресле сидит совсем молодой отец Беренжер Сонье, и я, деревенский недоумок, еще не отошедший от полыхания огней Парижа, увиденных мною впервые, в самом деле спрашиваю его:

– Отец Беренжер, а вы случаем не Бог?

И слышу в ответ, как по Писанию:

– Ты сказал.

Только кресло под ним уже иное – с высоченной спинкой, со странной резьбой на подлокотниках. И сидит в нем облеченный в столь же странные, какие-то восточные одежды смрадный человеческий прах. Это прах отца Беренжера. Да, именно таким я видел его спустя трид-

цать лет. Прах лица морщинист, прах носа крючковат, но, в сущности, узнать можно – та же прямая спина, тот же чуть исподлобья взгляд мертвых глаз... И псы воют вдали...

И вот этот человеческий прах берет за руку меня сегодняшнего, то есть, можно сказать, мой почти уже прах, держит цепко и повторяет:

– Ты сказал. Ты сказал. Ты сказал...

Стариковская память – что она? Не истина, а лишь пасквиль на истину.

Нет, ничего я тогда вслух не произнес, только подумал, да и то украдкой, боясь самого себя.

А о чем думал в тот момент, склонясь над зеленым сукном, устланном свитками, тридцатитрехлетний кюре Беренжер Сонье – о том иди знай...

– Вставай, лежебока, – разбудил меня с утра отец Беренжер. – Ты не забыл? Скоро мы едем к его преосвященству кардиналу.

...К кардиналу?..

...Ах да, конечно! И – невероятно! Мы едем, мы едем к самому кардиналу!..

Бумажное эхо

(вырезка из ежевечерней газеты “Огни Парижа”,
принадлежащей некоему маркизу де ***)

...Тот же барон де Сютен, произведя тщательный анализ древних свитков, найденных и привезенных в Париж лангедокским кюре отцом Беренжером Сонье, пришел к выводу (впоследствии подтвержденному и более признанными экспертами), что подлинность свитков не вызывает сомнений.

...Таким образом, вся история христианской поры, кажется, требует своего переосмысления.

...Один из свитков с трудом был все-таки выкуплен бароном де Сютенем у сельского кюре...

(Ах, как врет ваша газета, господин маркиз! С лестницы ваш барон скатывался, это да, это было; но не мог, не мог он ничего такого выкупить, я тому свидетель! Либо украл все же, чего также не исключаю, либо, что много вероятнее, свиток изготовлен, господин маркиз, все из той же вашей нормандской коровенки!)

*...затем перекуплен у него владельцем нашей газеты маркизом де *** и вскоре будет выставлен на аукцион.*

...О подробностях, касающихся находки лангедокского кюре, подробнее читайте в последующих ежевечерних выпусках нашей газеты.

Глава III

Парижские встречи

Его преосвященство

По дороге, пока мы в карете ехали с отцом Беренжером куда-то в дальний конец Парижа, мой преподобный наконец разъяснил мне, зачем он взял меня с собой. Дело в том, что его преосвященство, живущий в доме на территории монастыря, сейчас, к старости, совсем обезножил и может передвигаться только в кресле-каталке. Поскольку он утром любит совершать прогулки по парку, к нему от монастыря приставлен специальный монашек, чтобы эту каталку катил по аллеям. Но вся беда в том, что монашек этот больно уж хорошо знает латынь, а поскольку его преосвященство желает, чтобы некоторая часть его разговора с моим преподобным сохранилась в полнейшей тайне, то я-то, деревенский парубок, никаким эдаким премудростям не обученный, как раз этого самого монашка и замену. Дело нехитрое: толкай себе по аллеям кардинальскую коляску – и вся забота.

Когда мы приехали, кресло-каталка с кардиналом уже стояла посреди обширного парка. Монашек, стоявший рядом, при виде нас куда-то сгинул сразу же.

– Приветствую тебя, сын мой, – завидев нас, обратился кардинал к отцу Беренжеру. – Если, конечно, при всем том, о чем я насчет вас слышан, мне позволительно называть вас сыном.

Уже этих слов, хотя они были произнесены на самом что ни есть французском, я не понял. Как еще, скажите на милость, позволительно называть кардиналу простого деревенского кюре? Впрочем, возможно, – я так тогда подумал, – его преосвященство просто пошутил. У него и лицо было такое, слегка насмешливое. Вообще он чем-то напоминал мне знаменитого Вольтера, чей фаянсовый бюстик стоял на шкафу у моей тетушки Катрин в Ренн-лё-Шато. И был он не в знаменитой красной, подбитой, как я слышал, горностаем кардинальской мантии, а просто был завернут в какой-то простенький старый шерстяной плед – в похожий иногда укутывают моего бравого *говнюка* дедушку Анри, который сжег Москву. Только маленькая красная шапочка на лысой голове напоминала о его высочайшем сане.

Отец Беренжер в ответ лишь слегка поклонился и, подойдя, поцеловал ему руку.

Я, робея, стоял позади.

– А это и есть тот самый мальчик? – спросил его преосвященство. – Ну, иди сюда. – и тоже, тоже протянул мне руку для поцелуя!

Я подошел (едва не подбежал) и приник к ней. И по всему телу... в тот миг я бы сказал – прошла благодать. Но нет, скорее то был просто восторг деревенщины, сподобившегося... Ах, да кто, кто у нас в Ренн-лё-Шато поверил бы! Это вам не какой-нибудь раковый суп! Я сподобился поцеловать руку самому что ни есть настоящему кардиналу, тому, кто избирает наместника Бога на земле и кто сам при некотором стечении обстоятельств мог бы стать таковым, – и вот я, простой деревенский парень из Лангедока, Диди Риве, целую руку этому почти что небожителю!..

Нет, точно говорю, без Спиритус Мунди в кармане тут никак не обошлось.

Уж об этом у себя в деревне и рассказывать никому не стал – уж точно не поверили бы. Про раковый суп – пожалуйста, а об этом – ни-ни...

Гамлет

Клевета, сударь мой, потому что этот сатирический плут говорит здесь, что у старых людей седые бороды, что лица их сморщенны, глаза источают густую камедь и сливовую смолу и что у них полнейшее отсутствие ума и крайне слабые поджилки; всему этому, сударь мой, я хоть и верю весьма могуче и властно, однако же считаю непристойностью взять это и написать; потому что и сами вы, сударь мой, были бы так же стары, как я, если бы могли, подобно раку, идти задом наперед.

Полоний

(в сторону)

Хоть это и безумие, но в нем есть последовательность...

Шекспир, “Гамлет”, акт II, сцена 2⁹

Сейчас, из своего далека, когда все детские восторги перемолоты годами, как в мясорубке, а память скитается по неведомым закоулкам, как заблудившаяся в Аиде тень, могу, тем не менее, вспомнить (по крайней мере, мне так кажется, что могу), – вспомнить, что эта холодная, восковая рука пахла какими-то мазями, – примерно такими нестерпимо воняет и в моей нынешней комнатенке, – мазями, заглушающими запах тления, а из-под пледа отчетливо тянуло (да простится мне Господом это воспоминание!) самой натуральной мочой. Нынче понимаю, что в ногах у его преосвященства стояло обыкновенное судно, куда, вероятно, моча и стекала по трубочке, иначе он бы никак не вытерпел столь долгой прогулки на свежем воздухе. В общем, это был запах еще не смерти, но уже и не настоящей жизни...

Тут, пожалуй, моей памяти можно доверять. Стариковская память зла по отношению к чужой старости. Две старости отталкиваются одна от другой, как отталкиваются друг от друга два одноименных электрических заряда. Ибо сложение двух старостей – это уж чересчур много.

Старое тянется к молодому, так же как заряды разноименные. Тогда их сложение дает некий нуль, то самое небытие, ничто, в непрестанном ожидании которого все старики земли, не всегда признаваясь в том даже себе, только лишь и пребывают.

Так же и молодое подчас тянется к старому, по недомыслию принимая, очевидно, старость за якобы сопутствующую ей непременно мудрость...

Ах, если бы, если бы!..

...Правда сейчас, когда вспоминаю ту прогулку с кардиналом по парку, к моей заплутавшейся памяти примешивается еще и дивный запах роз...

Впрочем, тут ничего сверхъестественного – розами действительно благоухал чудесный парк его преосвященства, весь засаженный розовыми кустами.

Хотя тогда мне казалось...

...В тот миг мне казалось, что это сам кардинал источает нежнейшее благоухание роз, остальные же запахи мой разум просто-напросто не воспринимал, отторгал от себя, ввиду их полной неуместности и нелепости рядом с его преосвященством.

– А теперь, мой мальчик, – сказал кардинал, – стань-ка сзади этого кресла и попробуй, насколько тебе по силам его катить.

Я сделал, как он требовал. Кресло было на больших колесах и покатилося даже гораздо легче и быстрее, нежели я предполагал.

– Ну-ну, не так быстро! – попридержал мое усердие кардинал. – Давай-ка неспеша. Пока вот по этой аллее. Потом будешь сворачивать, где я скажу... А вы, сын мой, – обратился он к отцу Беренжеру, при этом слова “сын мой” снова произнес, по-моему, с чуть уловимой насмешкой, – вы ступайте рядом; так, за беседой, и скоротаем нашу прогулку... Кстати, насчет вашего мальчика... Он действительно ни слова не понимает на латыни?

⁹ Перевод М.Лозинского

– О, нет, это обычный деревенский паренек, – поспешил заверить его отец Беренжер.

Поспешил, между прочим, совершенно напрасно. Конечно, латыни я не обучался, тут и говорить нечего, но в нашем *la langue d'oc*¹⁰, по сути том же провансальском, есть много словечек, почти точь-в-точь латинских, так что даже в пасхальных проповедях, читаемых на латыни, я нет-нет да что-нибудь и могу иногда уразуметь. Иной раз и побольше половины. Преподобный мог бы легко и сам об этом догадаться – языки нашей местности он, кстати, знал не хуже французского и своей латыни, – видимо просто справедливо догадывался, что суть его беседы с кардиналом мне будет одинаково трудно уразуметь, на каком бы языке они там не между собой разговаривали, хоть по-французски, хоть на латыни, а хоть бы даже и по-китайски.

Все-таки кардинал (верно, дабы удостовериться) бросил мне несколько слов на латыни. Я легко понял, что он велел мне катить кресло, но с места стронуться не поспешил. Грех был, конечно, оставлять в заблуждении его преосвященство, однако и подводить отца Беренжера, я так полагал, тоже, пожалуй, был грех. Пока я соображал, который из грехов все-таки больший, кардинал повторил все то же самое по-французски, и мы неторопливо тронулись в путь. Я сзади бережнейшим образом катил кресло, а отец Беренжер, чуть склонив голову, передвигался по правую руку от его преосвященства.

Так некоторое время мы двигались молча, кардинал лишь потягивал носом, наслаждаясь прелестными запахами этого утра и розовых кустов, и только после того, как я по его команде свернул на боковую аллею, он наконец заговорил, обращаясь к кюре. Причем заговорил пока что ни на какой не на латыни, а на обычном французском.

Китаец Чжу,

Септимания, Вульгата с Септуагинтой, деспозины, мелхиседеки, — в общем, разговор, в котором ваш покорный слуга не понял, за исключением малого, прости Господи, ровно ни черта

– Так вот, сын мой, – сказал он, – вернемся к нашему давешнему разговору. Благочестивое королевство Септимания, о коем вы говорили, действительно, некогда существовало на нашей земле. И правили им, вероятно, в самом деле те, кого вы имеете в виду. Я ознакомился с вашими документами, так что... нет-нет, я не берусь утверждать, но – вполне, вполне вероятно. И столь же вероятно, что престол их (снова же не утверждаю – но...), что престол их даже обоснованнее римского. Однако – что же из этого следует?

– Что же следует? – эхом отозвался отец Беренжер.

– Что надо, подобно варварам, во второй раз уничтожить Рим? – вопросом на вопрос ответил кардинал.

¹⁰ Язык, на котором говорят в Лангедоке. Отсюда происходит и название самой провинции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.